

Научно-популярный журнал
Института русского языка
Академии наук СССР

Русская Зречь

1988 МАЙ · ИЮНЬ

Основан
в 1967 году
Выходит
6 раз в год
Издательство
"Наука"
Москва

- В НОМЕРЕ:**
- 3 К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. МАРКСА
Е. И. Кедайтене. Русский язык в жизни К. Маркса
-
- ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**
- 7 *А. Н. Архангельский.* Гений, парадоксов друг
(О принципе контраста в стилистике А. С. Пушкина)
- 13 *Г. И. Шкляревский.* «Милые, любите Пушкина!»
- 20 *М. Ф. Мурьянов.* Пушкин о московской речи
Из наблюдений текстолога
- 25 *А. Б. Пеньковский.* Тимофеевич или Никифорович?
Штрихи к портрету писателя
- 31 *М. А. Турьян.* Предвидения В. Ф. Одоевского
- 34 *Н. А. Шипачева.* Язык и стиль рассказа Леонида Андреева «Город»
-
- ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА**
- 38 *Леонид Андреев.* Город
-
- ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ**
- 44 *А. Г. Битов.* «Ты один мне поддержка и опора...»
- 45 *К. С. Горбачевич.* Книги имеют свою судьбу
-
- КУЛЬТУРА РЕЧИ**
- 48 *В. Л. Воронцова.* Следующая станция — *Сёрпужёвская?*
- 53 Из Нормативно-стилистического словаря русского языка
-
- СПОРНЫЕ СЛУЧАИ ОРФОГРАФИИ**
- 55 *Л. П. Калакуцкая.* О метре и мэтре
-
- К УРОКУ РУССКОГО ЯЗЫКА**
- 59 *А. А. Соколянский.* История «твёрдого знака»
-
- ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ**
- 64 *С. В. Смирнов.* Ф. И. Буслаев — учёный и педагог

- 70 *Н. Н. Полякова.* История языка – история народа
(К 100-летию С. П. Обнорского)
- 75 *С. П. Обнорский.* Культура русского языка
-
- СЛОВО МОЛОДОМУ ЛИНГВИСТУ**
- 78 *А. Г. Оганесян.* «Я, в сущности, мичуринец...»
(О словотворчестве поэта Семена Кирсанова)
-
- СРЕДИ КНИГ**
- 81 *В. Ф. Барашков.* А как у вас говорят?
- 82 «Потебня – имя огромного значения»
-
- РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ**
- 84 У нас в гостях китайские русисты
- 93 VII Международная конференция редакторов журналов по русистике
-
- ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ**
- К 1000-летию введения христианства на Руси*
- 96 *Е. М. Верещагин, В. П. Вомперский.* Кто и когда
«нам письмена сотворил и книги перевел»?
- 103 *А. Н. Качалкин.* Из монастырских архивов
- 109 *А. П. Богданов.* Прямая речь истории
- 115 *В. П. Козлов.* «Народ безмолвствовал...»
-
- ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ФОЛЬКЛОРА**
- 122 *С. Н. Азбелев.* Добрыня-змеборец
-
- ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ**
- 129 *Е. И. Коряковцева.* Судьба слова *прогресс*
- 133 *И. Г. Добродомов.* Люстра и ее «конкурент»
За песенной строкой
- 138 *В. П. Владимирцев.* «Эй, баргузин, пошевеливай
вал...»
-
- ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЗ**
- 145 *А. В. Барандеев.* Накануне сочинения
-
- СТРАНИЦА НОВЫХ СЛОВ**
- ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»**
- 152 О происхождении русских фамилий
- 158 Точка в заглавии
-
- КРОССВОРД**
- 150

На обложке рисунок В. Леонова

РУССКИЙ ЯЗЫК в жизни К. Маркса

Е. И. Кедайтене,
доктор филологических наук



ГЕНИАЛЬНЫЙ ученый, основоположник научного коммунизма К. Маркс проявлял глубокий интерес к особенностям развития России, находившейся в состоянии революционного брожения. Он стремился изучить социально-экономическое и политическое развитие страны, познать ее революционные возможности. И первым условием этих исследований для Маркса было овладение русским языком. «Маркс и Энгельс, оба знавшие русский язык и читавшие русские книги, живо интересовались Россией, с сочув-

ствием следили за русским революционным движением и поддерживали сношения с русскими революционерами», — писал В. И. Ленин. Видный деятель международного рабочего движения, друг и ученик Маркса и Энгельса Поль Лафарг вспоминал: «Маркс читал на всех европейских языках, а на трех — немецком, французском и английском — и писал так, что восхищал людей, знающих эти языки; он любил повторять фразу: „Иностранный язык есть оружие в жизненной борьбе“» (Воспоминания о Марксе и Энгельсе. М., 1956).

К. Маркс и Ф. Энгельс не ограничивались западноевропейской литературой для знакомства с жизнью России, а хотели узнать о ней по русским источникам. Особенно усилился их интерес в 60—70-е годы в связи с отменой в стране крепостного права и развитием капиталистических отношений. В письмах к Л. Кугельману, члену I Интернационала, К. Маркс сообщал:

«Я нашел нужным всерьез приняться за русский язык, так как при рассмотрении аграрного вопроса невозможно обойтись без изучения по первоисточникам отношений земельной собственности в России»; «...начал изучать *русский язык* ввиду того, что мне прислали из Петербурга книгу о положении рабочего класса (конечно, включая сюда и крестьян) в России...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 32. С. 572, 530). В письме к З. Мейеру, одному из организаторов секций Интернационала в Нью-Йорке, К. Маркс писал: «...пришлось самому заняться изучением русского языка... Это вызвано тем, что мне прислали из Петербурга представляющую весьма значительный интерес книгу Флеровского „Положение рабочего класса (в особенности крестьян) в России“ и что я хотел познакомиться также с экономическими (превосходными) работами Чернышевского (в благодарность приговоренного 7 лет тому назад к сибирской каторге). Результат стоит усилий, которые должен потратить человек моих лет на овладение языком, так сильно отличающимся от классических, германских и романских языков» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 33. С. 147).

К. Маркс высоко ценил Н. Г. Чернышевского. Русский революционер, народник Г. А. Лопатин писал: «Он [К. Маркс] не раз говорил мне, что из всех современных экономистов Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя..., что его сочинения полны оригинальности, силы и глубины мысли и что они представляют единственные из современных произведений по этой науке, действительно заслуживающие прочтения и изучения; что русские должны стыдиться того, что ни один из них не позаботился до сих пор познакомить Европу с таким замечательным мыслителем; что политическая смерть Чернышевского есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы, и т. д. и т. д.» (Воспоминания о Марксе и Энгельсе. С. 205). В кабинете К. Маркса на камине стояла фотография Н. Г. Чернышевского.

Внимательно и глубоко изучив экономическое положение России, развитие общественно-политической мысли и общественных движений, К. Маркс и Ф. Энгельс предсказали предстоящую социальную революцию в нашей стране. «Россия, положение которой я изучил по *русским* оригинальным источникам, неофициальным и официальным (последние доступны лишь ограниченному числу лиц, мне же были доставлены моими друзьями в Петербурге), давно уже стоит на пороге переворота, и все необходимые для этого элементы уже созрели». И далее: «Революция начнется на этот раз на Востоке, бывшем до сих пор нетронутой

цитаделью и резервной армией контрреволюции» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 34. С. 229, 230).

К. Маркс начал изучать русский язык, когда ему было 50 лет, и через короткое время овладел им так, что мог читать не только русскую общественно-политическую и научную литературу, но и произведения поэтов и прозаиков. По свидетельству жены Маркса Жени, К. Маркс в течение ноября — декабря 1869 года «с пылом и жаром» изучал русский язык. К январю 1870 года он уже мог читать со словарем «Тюрьму и ссылку» А. И. Герцена. Из поэтов и прозаиков К. Маркс особенно ценил Пушкина, Гоголя и Щедрина.

Внимание К. Маркса привлекла строфа «Евгения Онегина» Пушкина, в которой говорится о чтении Онегиным Адама Смита и о непонимании его отцом учения этого английского экономиста. В примечании «К критике политической экономии» К. Маркс прокомментировал ее: «В поэме Пушкина отец героя никак не может понять, что товар — деньги» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 158).

Особый интерес у Маркса вызывали произведения Чернышевского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, отражавших жизнь русского народа, их ненависть к эксплуататорам и царским бюрократам. В 1873 году Н. Ф. Даниельсон, русский литератор и экономист, переводчик всех трех томов «Капитала» на русский язык, прислал К. Марксу «Дневник провинциала в Петербурге» М. Е. Салтыкова-Щедрина и написал: «Я посылаю Вам сатиры единственного уцелевшего умного представителя литературного кружка Добролюбова — Щедрина. Его типы сразу же становятся такими же популярными, как типы Островского и т. д. Никто не умест лучше его подмечать пошлые стороны нашей общественной жизни и высмеивать их с большим остроумием... Вы найдете у него характеристику типов, Вам уже знакомых, но которые у нас только сейчас появляются, — типа умеренного либерала (пенкосниматель у Щедрина)..., типа концессионера и т. д. ...» (Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. Изд. 2-е. 1951. С. 92).

Глубина и тонкая сатира Салтыкова-Щедрина восхищала Маркса. Самые яркие места в произведениях сатирика, критикующих помещичий и буржуазный строй России, Маркс выделял своими пометами и подчеркиваниями. Такие замечания Маркса сохранились на четырех книгах Щедрина: «Дневник провинциала в Петербурге», «Господа Ташкентцы», «Убежище Монрепо» и «За рубежом». В тексте и на полях произведения «Убежище Монрепо» Маркс сделал более двухсот различных замечаний, свиде-

тельствующих о глубоком и тщательном анализе текста. Прежде всего его интересуют те страницы, где отражено обострение классовой борьбы в России 60—70-х годов XIX века. Так, вертикальной чертой на полях в тексте отмечено высказывание Салтыкова-Щедрина о разорившихся русских помещиках, «которые когда-то не только сами называли себя столпами, но даже были оними», а ныне «постепенно выродились в пропащих людей...» (см.: Дружба народов. 1958. № 5).

При изучении иностранных языков Маркс большое внимание уделял чтению текстов. Обладая редкой памятью, он быстро усваивал слова, обороты речи изучаемого языка. О тщательном изучении лексики, выявлении всех смысловых оттенков многозначного слова, а также фразеологии свидетельствуют его замечания и выписки на полях читаемого произведения. Незнакомые русские слова поясняются на русском, немецком, английском, французском, латинском и греческом языках. Например, *срамословить* — *сквернословить*; *объегорить* — *плутовски обмануть*; *обобрать* — *обирать* (*ausplündern*); *весь slavisch* — *Dorf*; слово *пришествие* поясняется по-английски и по-гречески. К. Маркс пользовался не только переводными словарями, но привлекал и «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля.

При изучении грамматического строя русского языка он составлял таблицы склонения и спряжения, словообразовательные парадигмы. В архиве сохранились большая тетрадь (92 рукописные страницы) и листы с упражнениями по русской грамматике, принадлежащие К. Марксу. Эти записи дают яркое представление о его методике изучения русского языка.

В обширной библиотеке К. Маркса было много русских книг по социальному положению России: произведения революционной публицистики и художественной литературы демократического направления — М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена (см.: Русские книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса, М., 1979).

Гений, парадоксов друг

О принципе контраста в стилистике А. С. Пушкина

А. Н. Архангельский



МЫ ЖИВЕМ в мире, буквально сотканном из контрастов, пронизанном ими,— свет и тень, день и ночь, бытие и небытие, вера и сомнение, радость и тревога сопутствуют в нашем ежедневном опыте, и лишь в парадоксальном их сцеплении, трудном единении жизнь реализуется как нечто *целое*. Стоит ли удивляться, что принцип контраста как характерный стили-

стический прием у Пушкина в произведениях, принадлежащих разным жанрам, проявляется схожим образом. На пример такого стилистического сближения между «Элегией» («Безумных лет угасшее веселье...») и письмом П. А. Плетневу от 22 июля 1831 года обратила внимание в одном из устных выступлений молодой пушкинист Н. В. Россина.

«Письмо твое от 19-го,— обращается Пушкин к П. А. Плетневу,— крепко меня опечалило. Опять хандрить. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчишки станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо» (здесь и далее цитируется издание: Пушкин. Полн. собр. соч.: В XVI т. М.—Л., 1937—1949). Нетрудно наложить на этот бытовой «фон» сюжетные контуры «Элегии». В прош-

лом — печаль: «Но — как вино — печаль минувших дней / В моей душе чем старе, тем сильней» (Элегия) — «Дельвиг умер, Молчанов умер» (письмо). В будущем — ожидание утрат: «Сулит мне труд и горе / Грядущего волнуемое море» (Элегия) — «погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы» (письмо). И все же — мысль поэта нацелена на *печальное жизнеутверждение*; показательно, что и в художественном произведении, и в бытовом документе неожиданный поворот мысли структурно одинаково оформлен: противительный союз «но» как бы переключает мысль в иной, более светлый, регистр. «Но не хочу, о други, умирать! / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать (...) / И, может быть, на мой закат печальный / Блеснет любовь улыбкою прощальной» (Элегия) — «Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья» (письмо).

Странно было бы ожидать полного совпадения стилистической окраски двух этих текстов. Письмо, как и положено бытовому документу, чуть «снижено», выбор языковых средств определен интонацией дружеского разговора. «Элегия», как то подобает философской миниатюре,— строга, гармонична, медитативна. Но самый принцип распределения лексического состава по двум контрастным «полюсам» — темам смерти и жизни — более чем показателен. Он возникает как результат окончательного становления позднепушкинского жизнеощущения.

Не потому ли поэт — через голову своей эпохи — обратился в 1836 году к античному элегическому канону, который осознавался как «двойственный», контрастный вид — формально состоящий из чередования гекзаметра и пентаметра; содержательно воплощающий идею нераздельности жизни и смерти, надежды и безнадежности? И вот смысловое наполнение элегического дистиха вновь начинает влиять на законы стилистического строения текста: «Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую: / Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе (...)»

Уже первые слова элегии «Художнику» образуют антонимическую пару — «грустен и весел», в которой сталкиваются противоположные состояния человеческого духа:

Сколько богов, и богинь, и героев!... Вот Зевс Громовержец,
 Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир.
 Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.
 Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль...
 Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых кумиров —
 Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига пет;
 В темной могиле почил художников друг и советник.
 Как бы он обнял тебя! как бы гордился тобой!

Поэта радует, что контрастные материалы: непрочный гипс и вечный мрамор — примирены художником; что исторически противостоящие в сознании потомков фигуры «совершителя» Кутузова и «зачинателя» Барклая — рядом; что Аполлон — идеал и Ниобея — печаль ничуть не противоречат друг другу. И в то же время его печалит кончина Дельвига. Но именно эта грустная память о друге заставляет автора воскликнуть в финале стихотворения: «Как бы он обнял тебя! как бы гордился тобой!»

Между «Элегией» (1830) и «Художником» (1836), как между двумя полюсами тяготения, и расположены все жанровые (а значит — и стилистические, ибо категория стиля осмыслялась в XIX веке, как правило, через призму жанра) поиски Пушкина.

Попробуем именно под таким углом рассмотреть факт обращения Пушкина в 1830-ом году к форме сонета. Тем более, что само непривычное, бросающееся в глаза соотношение названия и подзаголовка — «Сонет. Сонет» — в первом из сонетов этого года явно имеет принципиальный смысл. Оно означает, что поэт с самого начала попытался возратить жанру утраченный им в современной Пушкину поэзии канон:

Суровый Дант не презирал сонета;
В нем жар любви Петрарка изливал;
Игру его любил творец Макбета;
Им скорбну мысль Камознс облакал.

Сонет символизирует для Пушкина границу между двумя великими эпохами человеческой культуры: священные напевы гексаметра — высшее достижение поэзии до Данте, а поиски в жанре сонета объединяют уже поэтов «истинного романтизма» — от Данте и до Дельвига (и Пушкина!). А суть этого нового периода как раз и составляет резкая *контрастность* всех свойств. Если «священный напев» античности велик именно своим однообразием, «негой более отрицательной, чем положительной» (как выразился Пушкин в заметке об идиллиях А. А. Дельвига), то сонет собрал под своим жанрово-стилистическим покровом — *суровость* и — *жар любви; игру* — и *скорбну мысль*. Его *стесненный* размер позволяет мгновенно заключать *обширные* мечты. Воедино сцеплены противоположные стилевые качества, и звукопись пушкинского «Сонета» отражает эту контрастность его содержания.

СуРовый ДаНТ не ПрезиРал СонеТа;
В нем ЖАР ЛюБВи ПетРАРКа иЗЛивал (...)

Труднопроизносимые стыки согласных: *нт, рл, тр, рк*. Это — первые две строки. А вот — последние три:

У Нас его еще Не ЗНаЛи деВы,
 Как ДЛя Него уж ДельВиг ЗабыВаЛ
 ГекзаМетра СВящеНные НапеВы.

Здесь доминирует сонорный *н*, до минимума сведены «стыки» звуков, да и те, что остались, — легко перетекают друг в друга — *ан, дл, л'в, нн*. Единственное исключение — в слове *гекзаметр*: *кз* и *тр*. Но слово как бы растворено в плавных внутренних перекличках всей строфы: *девы, дль, Дельвиг*.

Даже в развитии *фонетической* темы стихотворения реализуется пушкинское понимание сонета как «кристаллообразного» выражения идеи контраста, лежащей в основе современной (то есть не древней) культуры. Но в отличие, скажем, от элегии, чье содержание тоже держится на «единстве и борьбе противоположностей», — в сонете нет никакого «снятия» противоречий. Противоположности остаются противоположностями: их сопричастие и несоединимость — вот главное.

Подтверждением тому — стихотворение «Поэту. Сонет», созданное все в том же 1830-ом году.

Поэт! не дорожи любовью народной.
 Восторженных похвал пройдет минутный шум;
 Услышишь суд глупца и смех толпы холодной;
 Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

.....
 (...) Ты сам свой высший суд;
 Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
 Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит
 И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
 И в детской резвости колеблет твой треножник.

Что помогает Пушкину остаться при этом *неколебимым*? Ответ — в сонете «Мадонна» (подзаголовок тот же). Не образы, которые вызывают суеверное удивление посетителя, внимающего важным, переменчивым суждениям знатоков, но лик абсолютного, не подлежащего переменам, мира: «Пречистая и наш божественный спаситель».

Нечто подобное произошло в пушкинской поэзии 1830-х годов и с терцинами. Так же, как и в сонете, принцип контраста более чем важен здесь. Но если там было множество равноправных контрастных пар антонимов, то в терцинах — главенствует одна, сквозная, резко делящая мир на борющиеся противоположности. В случае со стихотворением «В начале жизни школу помню я...» это — образ света и тени.

Смиренная, одетая убого,
 Но видом величавая жена
 Над школою надзор хранила строго.

Ее чела я помню покрывало
 И очи светлые, как небеса.
 Но я вникал в ее беседы мало.

Духовный свет, излучаемый «*светлыми*, как небеса», очами смиренной жены, ее «полные *святыни* словеса» герой толкует превратно: на его душе лежит уже *тьнь* греха, — и потому он бежит в «великолепный *мрак*» сада, полного аллегорических фигур. Их аллегоричность особо подчеркнута поэтом: сад — олицетворение *тневых* сторон бытия и человеческого сердца. Но в том-то и дело, что именно во мраке и среди теней («там нежила меня *тневой* прохлада») отчетливее и ярче проступают блики «*светлых* вод» и «*белые* в *тени* дерев кумиры». Самая вечность их неподвижности сияет покоем; дважды обращено внимание читателя на материал — мерцающий мрамор.

Побег из-под надзора *величавой* и *светлой* жены приводит героя в странное царство святящихся во мраке *величавых* и *светлых* фигур, которые рождают у него первые «слезы вдохновенья». Утрата и обретенье примирились между собою? Ничуть не бывало. Здесь всгущает в силу новое противоречие: среди мерцающих фигур — «двух бесов изображения», столь же влекущие, но вовсе не столь же несомненные. Одип — «Дельфийский идол» — полон гордости; другой — «женообразный, сладострастный, / Сомнительный и лживый идеал». Впрочем, — «лживый, но прекрасный», — не забывает уточнить поэт. Ведь эти изображения то же способны вдохновлять, однако — совсем иным образом. Если *светлые* фигуры пробуждают в сердце «сладкий некий страх» и даруют слезное умиление, то от этих — «холод / Бежал по мне». И вот — какой эпитет звучит в этот момент? Опять свето-тепловой: «Безвестных наслаждений темный голод». И, наконец, последние строки:

(...) все кумиры сада
 На душу мне свою бросали тень, —

подытоживают развитие сквозной метафоры стихотворения: борьба света и тени в сердце человека бросает свой *отсвет* (или *тень*) на все в мире.

Но — и это важно подчеркнуть — разговор ведется из абсолютной исторической дали, и ровная, *светлая* и *величавая* интонация автора нисколько не отражает его давних колебаний. Для поэта все уже решилось, он в силе и в праве абсолютно отре-

шиться от той, минувшей, ситуации и в чем-то уподобиться своей наставнице, давая суровый («дантовский») анализ наглядного примера из собственной духовной биографии. Потому-то ритм здесь так четок и чеканен; рифмы — точны; эпитеты плотно «пригнаны» друг к другу. Дети — *беспечные*; семья — *неровная*, по *резвая*; голос — *приятный, сладкий*; краса — *строгая* (или, вопреки ей, *волшебная*, то есть не сказочная, а полная непредсказуемой «волшбы» — у беса). И — так далее.

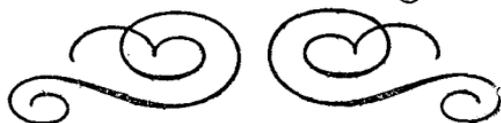
Интересно, что этот принцип возведения стилистического здания терцин на двойном фундаменте контрастных антонимичных пар Пушкин сохранил и тогда, когда (в 1832 году) обратился к ним с пародийными целями:

И дале мы пошли — и страх обнял меня.
 Бесенок, под себя поджав свое копыто,
 Крутил ростовщика у адского огня.
 Горячий капал жир в копченое корыто,
 И лопал на огне печеный ростовщик.
 А я: «Поведай мне: в сей казни что сокрыто?»

Только контраст здесь особого рода, основанный на диссонансе, на расхождении звука и изображения. Герой в высоком штиле с интонацией сумрачной торжественности рассуждает о комически и житейски подробных сценках. Чего стоит, к примеру, лопнувший «печеный ростовщик», в чьей казни почему-то должно быть нечто «сокрыто»? Однако обратим внимание на жесткую звукопись приведенной цитаты: она отвечает всем требованиям суровых терцин. И синтаксические конструкции — те же. И сама тема, избранная поэтом: мучения греха. То есть все как в стихотворении «В начале жизни школу помню я...», но с противоположным оценочным «знаком».

Пародия (автопародия — тем более) в литературе часто служит сигналом того, что пародируемое явление достигло своего апогея, расцвета; оно настолько проявлено в слове, что легко можно «схватить» законы его построения и тут же возвести на их основе здание комического «перевертыша». А в результате — два текста, пародируемый и пародирующий, образуют контрастную пару смысловых антонимов. Возникает напряженное, подобное магнитному полю, взаимодействие двух противоположных стилистических концепций. Но это уже тема отдельного разговора.

„Милые, любите Пушкина!“



Г. И. Шкляревский,
кандидат филологических наук

В «Заметках о сказках Пушкина» С. Я. Маршак рассказывал о том, как замечательный русский композитор А. К. Лядов, встретив его четырнадцатилетним мальчиком у критика В. В. Стасова, убедительно и ласково сказал ему: — «Милый, любите Пушкина!» (Маршак С. Я. Собр. соч.: В 8 т. М., 1971. Т. 7. С. 7; далее — только том и страница). Вспоминая это паупутствие композитора, Маршак с глубоким убеждением писал, что «дети нашего времени будут не менее благодарны своим педагогам и родителям за столь же своевременный совет: — Милые, любите Пушкина!»

Пушкин для Маршака всегда был непререкаемым авторитетом, учителем гражданственности и литературного мастерства, образцом удивительного сочетания «простоты и сложности, прозрачности и глубины (...) в стихах и прозе» (VII, 8, 7).

Проникновение в глубины художественного творчества Пушкина, тонкий анализ языка и стиля его произведений еще больше укрепляют Маршака в убеждении: «Поэт больше, чем кто-нибудь другой, должен бороться за ценность и ответственность слова, за связанность мира и языка, за вечное ощущение ценностей и в том и в другом» (VI, 614).

Маршак видел в творениях Пушкина органическую связь языка с жизнью создавшего его народа, слова с делом, языка писателя и выражаемых им идей, рисуемых образов, показывал и раскрывал это в своих статьях, посвященных проблемам мастерства писателя, отдельным литературным жанрам (например, в циклах «О сказках», «О мастерстве» и др.).

Подчеркивая одно из обязательных условий эффективности художественного творчества — знание жизни, действительности и отражающего их языка, Маршак иллюстрировал это положение пушкинским «Пророком» и писал: «Когда мы читаем у Пушкина:

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый (...) —

мы словно присутствуем при кровавой операции, нам передается

эта высокая боль». И далее: «Нельзя чувствовать и знать слово, если не чувствуешь и не знаешь действительности» (там же).

Эта неразрывная связь действительности, мира и языка, содержания произведения и его речевой формы диктует писателю прежде всего неустанную заботу о точности слова и словоупотребления. И опять-таки наиболее яркие и убедительные примеры этого Маршак видит у Пушкина, который находил нужные ему слова и в литературной, и в разговорной речи, в языке современном и в устаревшем, но живом и необходимом для решения определенных стилистических задач. «Язык отражает глубокое знание жизни и природы, приобретенное человечеством. И не только социальный язык разных профессий (...), но и общенародный словарь впитал в себя этот богатый и разнообразный житейский опыт. В живой народной речи запечатлелось так много накопленных за долгие века наблюдений и практических сведений (...) Вступая во владение неисчерпаемым наследством своего народа, поэт получает заодно заключенный в слове опыт поколений, умение находить самый краткий и верный путь к изображению действительности», — писал Маршак в статье «Мысли о словах».

Тонкое и безошибочное ощущение того, где, в каком случае «годятся» те или иные — старые и новые — слова и словесные слои, никогда не изменяло Пушкину. «Писатель должен чувствовать возраст каждого слова, — замечает далее Маршак. — (...) Он должен уметь улавливать характерные речевые новообразования — и в то же время ценить старинные слова, вышедшие из повседневного обихода, но сохранившие до сих пор свою силу» (VII, 91). В доказательство справедливости этого утверждения Маршак напоминает читателю строки из «Полтавы» Пушкина, содержащие высокую и устаревшую уже во времена поэта лексику:

(...) Сии птенцы гнезда Петрова —
В временах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны (...)

И если, высмеивая ходульную и напыщенную поэзию архаиста графа Хвостова, Пушкин, пародируя его, пишет: «И се — летит предерзко судно / И мечет громы обоюдно...», то тем же архаически торжественным *се* Пушкин уже с другой стилистической целью — создание торжественной тональности — пользуется при описании Полтавского боя:

И се равнину оглашая —
Далече грянуло ура (...)

И Маршак по этому поводу замечает: «Современное слово „вот“ („И вот — равнину оглашая“) прозвучало бы в этом случае куда слабее и прозаичнее» (VII, 92).

Вдумчиво и скрупулезно анализируя стихотворение Пушкина «В часы забав или праздной скуки...», Маршак показывает, как у поэта в тексте «спорят» между собой не только светская романтическая поэзия и поэзия духовная, но и «(...) два слоя русской речи — современный поэтический язык и древнее церковнославянское красноречие:

В часы забав или праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

.

Твоим огнем душа пала
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Если первая строфа этих стихов вся целиком пронизана причудливым очарованием свободной лирики,— продолжает Маршак,— то во вторую уже вторгается иной голос — голос торжественного и сосредоточенного раздумья. Постепенно он берет верх и звучит уже до конца стихотворения» (VII, 93).

Наряду с поисками отточенных литературным употреблением языковых поэтических форм Пушкин смело обращается к сочному бытовому русскому языку, и, замечает Маршак, «(...) поэту может как нельзя более пригодиться слово, выхваченное из живой разговорной речи. Так, в „Евгении Онегине“ автору понадобилось самое простонародное, почти детское восклицание „У!“.

У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!» (VII, 92).

В самой высокой мере была свойственна Пушкину забота о точности избранного для создания характерного языка персонажа слова, а также темпа, ритма его речи. «По-разному, по-своему,— подчеркивает Маршак в статье „Зачем пишут стихами?“,— говорят у него старики и молодые, мужчины и женщины, русские и поляки, испанцы и англичане, люди различных времен, классов,

сословий. Как не похож строгий и бесстрастный монолог старого монаха Пимена:

Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей...—

на речь другого старика — непоседливого, озабоченного, суетного мельника: „Ох, то-то все вы, девки молодые!“»

Маршак показывает, как двумя-тремя строчками Пушкин передает «высокий, безмятежный от певеденья жизни, детский голосок в реплике русалочки (внучки старого мельника):

Тот самый, что тебя
Покинул и на женщине женился?—

и в другой ее наивной и спокойной реплике: „А что такое деньги, я не знаю...“» (VII, 66—67).

Только точность выбора слова и правильное его расположение в предложении («слово в строю»,— как говорил Маршак) может обеспечить одну из существенных сторон слога писателя — краткость, высокохудожественный лаколизм изложения. Пушкин — образец в этом отношении. Особенно Маршак выделяет сказки поэта: «Слова в них так же скупы, чувства столь же щедры. Но, пожалуй, в сказках художественные средства, которыми пользуется поэт, еще лаконичнее и строже, чем в „Онегине“, „Полтаве“ и в лирических стихах». Это наблюдение из уже цитированной статьи «Заметки о сказках Пушкина» Маршак иллюстрирует пейзажем из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», занимающим три строчки:

<...> вьется вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белешенька земля.

Из этой же сказки Маршак приводит фрагмент, в котором очень немногословно передаются чувства, душевные движения действующих лиц:

«<...> Издалеча наконец
Воротился царь-отец.
На него она взглянула,
Тяжелешенько вздохнула,
Восхищенья не снесла
И к обедне умерла.

Одна пушкинская строчка,— замечает писатель,— „Тяжелешенько вздохнула“ — говорит больше, чем могли бы сказать целые страницы прозы или стихов <...> Да и в самом этом стихе, который, при всей своей легкости, выдерживает такое длинное, много-

сложное слово, и в следующей строчке — „Восхищенья не снесла“ — как бы слышится последний вздох умирающей».

Простота слога сказок Пушкина, утверждает далее писатель, во многом объясняется их связью с народной сказкой и тем, что в них нет никаких украшений, очень мало подробностей. Для доказательства справедливости этой мысли Маршак сопоставляет описание моря в «Евгении Онегине»:

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!—

с изображением аналогичного пейзажа в «Царе Салтане»:

Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.

«Здесь,— обращает внимание читателей Маршак,— очень мало слов — все наперечет. Но какими огромными кажутся нам из-за отсутствия подробностей и небо и море, занимающие в стихах по целой строчке. И как не случайно то, что небо помещено в верхней строчке, а море — в нижней».

Лаконизм и в то же время динамика повествования поэта зависят, в частности, от его сдержанности в употреблении эпитетов, прилагательных. «Пушкин (...) всегда был скуп на прилагательные,— констатирует Маршак.— А в сказках особенно. Вы найдете у него целые строфы без единого прилагательного. Предложения составлены только из существительных и глаголов. Это придает особую действенность стиху.

Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» — молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Сколько силы и энергии в этих шести строчках, в этой цепи глаголов: „поднялся“, „уперся“, „понатужился“, „молвил“, „вышиб“ и „вышел!“» (VII, 8—10).

Маршак, опираясь на огромный опыт детского писателя и говоря о том, что Пушкин свои сказки не предназначал для детей, подчеркивал, что весь словесный строй пушкинских сказок «соответствует (...) требованиям читателя-ребенка, не останавливающегося на описаниях и подробностях и жадно воспринимающего в рассказе действие» (VII, 10).

Однако художественная выразительность поэтической речи достигается не только точно найденными словами, очень многое

при этом «значат (...) каждый звук, каждая гласная и согласная» (VII, 13). «Слово в строю,— писал Маршак,— не живет само по себе, только для себя. Оно содействует другим словам — сова-рищам по строю:

То по кровле обветшалоЙ
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Эпитет „обветшалый“ не только выполняет свое прямое назначение, но еще и передает — вместе со словом „зашумит“ — шуршащие соломой по крыше» (VII, 110).

В статье «О звучании слова» Маршак на примере стихотворений Пушкина доказывает, что «всякий настоящий писатель, а поэт в особенности, тонко чувствует неразрывность значения и звучания слова (...) Он пользуется звуками не случайно, а с отбором, отдавая в каждом данном случае предпочтение одним звукам перед другими». Эту мысль, в частности, писатель иллюстрирует стихотворением «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...», где «музыкальной основой (...) пушкинских аллитераций», повторением *м* и *л* «было, вероятнее всего,— замечает Маршак,— слово „милый“ („милее“»)» (VII, 137).

В беседе с Ст. Рассадным писатель, размышляя о значении аллитераций в стихотворной речи подчеркивает, что они «раду-ют и поражают нас» тогда, когда «как бы приоткрывают перед нами основной путь поэта», и что они «у настоящего поэта всегда рядом — и вместе — со смысловой темой». Доказывая справедливость этой мысли, Маршак обращается снова к Пушкину и приковывает внимание собеседника к стихотворению «...Вновь я посетил...» (1835) — одному из самых зрелых и совершенных произведений поэта, в котором «больше чем в восьмидесяти процентах строк (...) вы услышите звук „п“ и ударную гласную „о“». Объясняет эту звуковую инструментовку писатель следующим образом: «(...) вникая в эти аллитерации, думаешь, что „п“ пришло в эти стихи как тихий звук (глухой согласный — Г. III.) — все стихотворение очень тихое, что сочетание „п“ и „о“ из слова „покой“. Ведь покоем пронизано все это стихотворение» (VI, 605).

В статье «О хороших и плохих рифмах», раздумывая над важностью рифмы в донесении до читателя содержания и образного строя стихотворения, Маршак проводит основную для себя мысль — рифма, взятая сама по себе, в отрыве от текста произведения, его смысла не может быть плохой или хорошей, бедной или изысканной. Главное в рифме — ее соответствие образу и выражаемому при ее содействии содержанию. И опять-таки в

цепи доказательств этого положения основное место отводится примерам из произведений Пушкина. Так, цитируя «Сказку о царе Салтане», Маршак показывает читателю неправомерность довольно распространенного утверждения о примитивности глагольной рифмы и рифмовки, построенной на одинаковых падежных окончаниях, и, приводя отрывок из стихотворения «Румяный критик мой, насмешник толстопузый», иронизирует: «Но что это за рифмы? — сказал бы строгий рецензент (...) — Вы только послушайте: „нет“ — „вслед“, „ребенка“ — „попенка“, „отворил“ — „схоронил“...» И еще раз, подчеркивая свое отношение к рифме, писатель замечает, что «богатые, изысканные и замысловатые созвучия были бы столь же неуместны в этих правдивых, суровых стихах, как и привычные „светлые нивы“ и „темные леса“, которые желал бы видеть в сельском пейзаже „румяный критик, насмешник толстопузый“» (VII, 106).

Маршак делает важный и объективный вывод о том, что «не случайные, а важные для всей картины слова рифмуются поэтом (...) Когда ему (Пушкину — Г. III.) это было нужно, он мог блеснуть самой острой, полнозвучной и неожиданной рифмой в эпиграмме. Но, полемизируя с любителями поэтических красот, он с откровенной преднамеренностью избегал какого бы то ни было щегольства в отборе слов, размеров и рифм» (VII, 105—106).

Наблюдения над особенностями слога Пушкина сливаются у С. Я. Маршака с трепетным отношением к гению русской литературы. Его слова: «Во всей нашей литературе нет человека, которого мы любили бы более личной любовью» (VII, 224), — созвучны чувствам многонационального советского читателя, писателей многоязычной советской литературы, один из видных деятелей которой — Расул Гамзатов с благодарностью вспоминает: «В годы моей молодости старый Маршак посоветовал: читайте Пушкина!»

Харьков

Пушкин о московской речи

М. Ф. Мурьянов,
доктор филологических наук



набросках «Опровержение на критики» (1830) Пушкин заметил: «Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентинском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирям. Они говорят удивительно чистым и правильным языком».

Знаем ли мы, что же это за удивительно чистая и правильная разновидность русского языка? Об этом однажды зашла речь в Отделении литературы и языка АН СССР, обсуждавшем вопрос о том, каким должен быть словарь современного русского языка. Тогда — это было весной 1939 года — наш виднейший лексикограф член-корреспондент АН СССР Д. Н. Ушаков поделился своими впечатлениями о новом, советском поколении филологической молодежи. Опубликована стенографическая запись его выступления: «Студент, хороший студент, говорит мне: „Вот, Дмитрий Николаевич, не понимаю пушкинской фразы: он советует прислушиваться к говору московских просвирен“. Студент не знает, что такое просви́рня. Он думает, что это, очевидно, какая-то мастерская: столя́рня, слесарня и т. д. Так вот я и думаю: очень почетная задача этого молодого человека — филолога — просветить. Где же он это слово найдет? В словаре оно должно быть» (Современная русская лексикография. 1981. Л., 1983. С. 152).

Созданные Академией наук словари эту задачу решили. Так, в большом «Словаре современного русского литературного языка» читаем: «Просви́рня. Женщина, занимающаяся выпечкой просви́р» А просви́ра́ (просфо́ра) — это «белый круглый хлебец,

употребляемый в обрядах православного богослужения». Как видим, задача решена лишь в первом приближении: словарь ведь не может вдаваться в развернутые пояснения таких понятий, о которых коротко не скажешь. К тому же в данном случае точное знание значения слова *просвирня* вовсе не означает, что тем самым известны особенности языка просвирен в пушкинскую эпоху, причины этих особенностей, смысл проведенного Пушкиным сравнения с языковой ситуацией в Италии.

Пушкинское высказывание содержит несколько принципиальных положений:

1) владение иностранными — прежде всего французским — языками обернулось для образованной части русского общества ущербностью знания родного языка;

2) ущербному русскому языку русского дворянства противостоит разговорный язык простого народа, пренебрегаемый в социальных верхах, но достойный глубочайших исследований;

3) точнее: этот язык «достоин также глубочайших исследований». Знаменательным наречием *также* устраняется возможность толковать высказывание как отрицание достоинств языка образованной части общества, открытого для обогащения культурными ценностями других народов Европы;

4) известна ведущая роль Флоренции, то есть тосканского диалекта, в складывании общенационального языка Италии. К словам о Флоренции присоединено через бессоюзную подчинительную связь, обозначенную пунктуационно, двоеточием, высказывание о Москве, где, как казалось современникам Пушкина, по-русски говорят правильнее и чище, чем в других местах;

5) еще одна линия русско-итальянского сравнения по поводу обращения к народным истокам языка — «мы» и граф Витторио Альфьери (1749—1803), человек французской культуры, латинист и эллинист, в начале своей литературной деятельности плохо знавший родной язык, а затем поднявшийся до создания своего собственного стиля, совершенно нового трагического стиха;

6) для Флоренции как коллективный носитель разговорного языка простого народа обозначен базар, а для Москвы — просвирни.

Это, конечно, полемическое заострение, сделанное пером русского человека. В Москве ведь тоже был базар, а во Флоренции тоже кто-то выискал опресноки — хлебцы для мессы. Но католическое духовенство безбрачно, а за русскими просвирнями — школа семейной жизни. Кому что нравится. Пушкину нравились русские просвирни. Это национальное пристрастие поэта было настолько хорошо известно в литературных кругах, что в 1832 го-

ду по инициативе президента Российской Академии адмирала А. С. Шишкова поэт стал действительным членом Академии. Но и на другом полюсе противостояния в спорах о языке между «шишковцами» и «карамзинистами», в Петербургской Академии наук Пушкина понимали и высоко ценили, в 1831 году ее глава филолог-античник С. С. Уваров высказывал желание увидеть поэта почетным членом своей Академии.

В рассматриваемом нами тексте есть один скрытый, но существенный показатель того, что Пушкин был далек от национальной ограниченности, что его «шишковизм» был весьма условным. Нет, Пушкин стоял лицом к Европе, а взгляд его на европейскую культуру отличался избирательностью вкуса. В самом деле, мысль об Альфьери в связи с раздумьями о русской языковой действительности не была лингвистически неизбежной. Она, пожалуй, даже неожиданна. Закономерность здесь есть только в одном: имя выдает как раз ту направленность ума, которую выслеживали в Пушкине душители его свободы.

Пафос творческой индивидуальности Альфьери — тираноборчество, он сумел его выразить не только в трагедиях, которые на русской сцене не шли и на русский язык не переводились, причем не по недостатку знаний, не по отсутствию интереса к итальянскому театру. Официальный Петербург запомнил известные всему миру слова отвращения, высказанные в автобиографических записках Альфьери по поводу политического устройства России, где для него все дышало тиранией, начиная от самодержицы Екатерины II, запятнанной «самым ужасным преступлением, убийством безоружного супруга». Русские ему показались рабами, их гнула к земле переписывавшаяся с лучшими мыслителями европейского Просвещения императрица, эта «философствующая Клитемнестра» (*Clitennestra filosofessa*).

Русскому обществу не положено было знать об этом отзыве, о чем выразительно сказано в статье об Альфьери в вышедшем еще при жизни Пушкина «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара (СПб., т. 2, 1835): «Сочинения Альфьери дышат краспоречием истинного трибуна. Что же касается до записок о его жизни, то желательно бы было не видеть их в печати». Это не осталось пустым пожеланием, автобиографические записки Альфьери никто не увидел напечатанными в России. Но Пушкин произведения Альфьери знал и считал, что в его творчестве есть образцы для некоторых трагедий Байрона, — это на языке Пушкина являлось высшей похвалой. Примечательно, что все упоминания об Альфьери поэт позволял себе только в письмах к ближайшим друзьям и в черновых набросках не для печати.

Итак, Пушкин признал за Москвой роль высшего авторитета в вопросах правильности русского языка. Это находится в драматическом противоречии с медленным, но верным движением речевых навыков самого Пушкина от нормы родной, московской к норме петербургской — движением, зафиксированным и доказанным академиком С. П. Обнорским (см. его фонетическое исследование «Пушкин и нормы русского литературного языка», впервые опубликованное в Трудах юбилейной научной сессии Ленинградского университета. 1946). Пушкин в этот момент все еще считал свое произношение московским, как явствует из его слов в том же «Опровержении»: «Московский выговор чрезвычайно изнежен и прихотлив... Мы даже говорим *женщины, нослег...*»

Язык всегда в чем-то подвижен, а в чем-то стабилен. Когда в языке ищут правильность и чистоту, обращаются именно к стабильному началу, которое в старой Москве имело несравненно более глубокие корни, нежели в молодом Петербурге. А внутри пестрого московского общества его самой стабильной, консервативной частью было духовенство. Занимавшие дворян и мещан, смеявшиеся друг друга моды на ополячивание, онемечивание, офранцузивание духовенство не затрагивали; вместе с тем, эта замкнутая каста не подвергалась тому разрушительному действию крепостного права, которое испытывал на себе самый обширный и обездоленный класс — крестьянство.

Основная линия традиционности внутри духовенства — женская. Хранительницы домашнего очага обладали, при прочих равных условиях, тем качеством в своем языке, которого не имели их мужья. Эти женщины воспитывали детей, об их особенностях напоминает шутливая поговорка у Даля: «Ты не просвирнин сын, сквозь тебя не видно (не засть)», поэтому их язык обладал всей полнотой выразительных средств, чего не могло быть в языке церковных книг, применимом далеко не во всех случаях жизни.

Полнота языка женщин является фактом, положенным в основу лингвистического термина, отсутствующего в русском языке, но точно выражающего суть явления: нем. *Muttersprache*, франц. *langue maternelle*, англ. *mother tongue* — буквально «материнский язык». Идея создать такой термин возникла у западных ученых XII века. Общаясь между собой на мертвой латыни, они остро ощущали скованность своей речи, нехватку того живительного начала в языке, которое человеку дано принять только из уст матери. Это недостающее ученые мужи метко называли по-латыни *materna lingua* — «материнский язык».

Просвирней могла стать далеко не каждая москвичка духов-

ного сословия, поскольку должность просвири — общественная, она уже в древнерусских княжеских уставах XI—XV веков числится в причте (церковном штате). Такое новшество возникло на древнерусской почве, а византийцы считали, что иметь женщин в составе причта не следует, дабы для мужчин не возникло соблазна. Это установили историки (см.: *Reallexikon für Antike und Christentum*. Hrsg. von Th. Klauser. 58. Lfg. Stuttgart, 1970). Постановлением созванного Иваном Грозным Стоглавого собора (1551) разъяснено, что допускать к должности просвири можно только единовбрачных вдов духовного сословия, имеющих безупречную репутацию. Незадолго до этого немецкий дипломат и путешественник Зигмунд Герберштейн обратил внимание на просвирен как на русскую достопримечательность (см. его «Записки о московитских делах». 1549).

Лингвист, изучающий сегодня территориальные и социальные диалекты русского языка, не имеет возможности назвать конкретные признаки языка московских просвирен, реконструировать их. В пушкинскую эпоху русской диалектологии еще не было и, следовательно, диалектологических записей того времени не существует, а в пореформенное время языковая картина Москвы стала быстро меняться. В 1869 году закон отменил наследственность русского духовенства и упразднил должность просвири в составе причта. Уникальное, крохотное племя просвирен, чье имя не переводится ни на какие языки, все еще влачило какое-то существование, в 1891 году А. П. Чехов заметил о своих денежных делах в Москве: «...я еще не запутался, потому что изошряюсь и живу скромнее просвири».

Церковные просфоры выпекались в неумещающемся количестве, но делали это уже в основном не просвири, а централизованные пекарни. Для Руси пришло время распрощаться с одной из своих исконных реалий; грусть исторического расставания прозвучала еле заметной ноткой в оптимистических словах великого ученого-генетика академика Н. И. Вавилова, сказанных по поводу задач селекции пшеницы: «Средневековые сорта — белoturки, гарповки и ульки — жалкие, как просвири, и лишние, как ижица, навсегда оставят в покое наши поля» (Ленинградская правда. 1933. 29 авг.).

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ТЕКСТОЛОГА

Тимофеевич
или
Никифорович?

А. Б. Пеньковский,
кандидат филологических наук

«Вот загадка моя: хитрый Эдип, разреши!»
А. С. Пушкин

3 декабря 1833 года Пушкин записал в своем дневнике: «Вчера Гоголь читал мне сказку: «Как Иван Иванович поссорился с Иваном Тимофеевичем», — очень оригинально и очень смешно» (Собр. соч.: В 10 т. М., 1978. Т. 8. С. 25; далее — только том и стр.).

Прочитав эти строки, сразу же вспомним хорошо знакомую со школьных лет гоголевскую «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», посмеемся еще раз над ее грустно-смешными героями, отметим пушкинскую оценку («очень оригинально и очень смешно») и, конечно же, задумаемся. Два вопроса обязательно встанут перед нами: почему Пушкин называет гоголевскую повесть сказкой и почему Иван *Никифорович* оказывается у него Иваном.. *Тимофеевичем*?

Для этого конечно заглянуть в «Словарь языка Пушкина», прочесть в нем соответствующую статью, чтобы убедиться, что Пушкин — в согласии с нормами литературного языка своего времени — употребляет слово *сказка* не только в том привычном значении, в каком используем его мы (*народные песни и сказки, сказки Пушкина*), но также и в более широком плане — применительно к любому небольшому по объему литературному произведению в стихах или в прозе. В условиях непринужденного общения и вообще в тех случаях, когда точное жанровое обозначение не было необходимым, сказка для Пушкина — это и поэма, и рассказ, и повесть. И если он мог — в переписке с друзьями и даже в печатных текстах — называть сказками собственные не-сказки (например, поэму «Граф Нулин» или «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»), то тем более понятно использование этого

слова в дневниковой записи (в записи для себя) о произведении, которое было воспринято лишь на слух, при устном чтении, когда название могло быть прочитано не полностью, без первых слов (так, как его и записал Пушкин).

Объяснить так же просто и уверенно второе переименование, к сожалению, не удастся. Не удастся потому, что это не вопрос, на который можно ответить, и не задача, которую можно решить, а загадка, которую нужно разгадывать.

Начнем с размышления над тем, какое отчество (*Тимофеевич* или *Никифорович*) было первым и кто произвел переименование — Гоголь или Пушкин? Обсудим следующие две возможности:

Могло быть так. Второй Иван в «Повести...» Гоголя был первоначально *Тимофеевичем*, и Пушкин записал то, что услышал и правильно запомнил. В таком случае другое отчество — *Никифорович* — было дано герою Гоголем в процессе дальнейшей его работы над «Повестью...», то есть после того, как он прочел ее Пушкину второго декабря 1833 года.

Могло быть и иначе. Второй Иван в «Повести...» Гоголя был и остался *Никифоровичем*. Но тогда другое отчество — *Тимофеевич* — возникло под пером Пушкина при записи по памяти, на другой день после чтения, в результате какой-то ошибки.

Какую из этих двух возможностей предпочесть? Какая из этих двух версий соответствует действительности? Проще всего было бы обратиться к рукописям гоголевской «Повести...»

Увы! Рукописи «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», как, впрочем, и рукописи многих других произведений Гоголя, не сохранились. Этот путь закрыт.

Попробуем взглянуть на ситуацию, исходя из того, что известно об истории публикации «Повести...» Гоголя и о его творческих связях с Пушкиным в начале 30-х годов.

К концу 1833 года «Повесть...» была закончена, переписана набело и отправлена издателю. 9 ноября 1833 года Гоголь в письме к М. А. Максимовичу сообщил, что она находится у А. Ф. Смирдина, в альманахе которого «Новоселье» и была впервые опубликована в 1834 году. Однако выпустить (*выдать*, как тогда говорили) повесть в свет без одобрения того, кто был для него высшим литературным авторитетом, Гоголь, очевидно, не мог. Так (хотя и с опозданием, поскольку Пушкина несколько месяцев не было в Петербурге) состоялось то чтение, которое Пушкин отметил в своем дневнике. Пушкин, за два года до этого благословивший издание «Вечеров на хуторе...», стал восприимчивым и новой повести Гоголя.

Если предположить, что в том тексте, который Гоголь прочитал Пушкину 2 декабря 1833 года, второй Иван был *Тимофеевичем*, то замену этого отчества на *Никифорович* Гоголь должен был бы произвести сразу же после чтения у Пушкина (чтобы успеть известить издателя об этой важной поправке), и, надо полагать, по его — Пушкина — рекомендации и совету. Но тогда и сам Пушкин, вероятно, упомянул бы об этом факте в своей дневниковой записи, и Гоголь, всегда с благодарностью отмечавший все, чем он был обязан Пушкину, не мог бы умолчать об этом. Кроме того, нам вообще неизвестны какие бы то ни было свидетельства о прямом «вмешательстве» Пушкина в гоголевские тексты.

Из двух выдвинутых на обсуждение версий скорее всего справедлива вторая: загадка переименования, превратившего Ивана *Никифоровича* в Ивана *Тимофеевича*, связана не с Гоголем, а с Пушкиным. Какая же может быть загадка в случайной ошибке?

Иногда ошибаясь и неправильно называя кого-либо по имени-отчеству, мы, сами того не подозревая, следуем определенному правилу: либо меняем основы имени и отчества местами (называя Ивана *Петровича* *Петром Ивановичем* и наоборот), либо заменяем их другими — созвучными, похожими по фонетическому составу. Например, *Наталья* и *Надежда*, отчества *Александрович* и *Алексеевич* (у них общие начала: *На...* и *Алекс...*), *Александрович* и *Андреевич* (у них общий звуковой комплекс — *А...ндр...*), *Георгиевич* и *Григорьевич* и т. д.

Случилось же так, что Пушкин (в письме от 12 июля 1833 года) назвал *Александра Андреевича* Ананьина, мало известного ему человека, к которому у него было финансовое дело, «милостивым государем *Абрамом Алексеевичем*» (X, 338). Это, конечно, ошибка, но ошибка обычная, стандартная и понятная. Это — «правильная» ошибка. Назвав Ивана *Никифоровича* Иваном *Тимофеевичем*, Пушкин сделал ошибку «неправильную».

Действительно, два отчества — *Никифорович* и *Тимофеевич* — лишены признаков фонетической общности: если не считать стержневого звука [ф], у них разный звуковой состав, разная слоговая структура и разный ритмический рисунок. Что же их объединяет?

По-видимому, только то, что оба отчества в пушкинскую эпоху были уже сравнительно редкими и несли на себе отпечаток провинциальности или низкой социальной принадлежности, отражая соответствующие признаки производящих имен — *Никифор* и *Тимофей*, которые, как свидетельствуют подсчеты В. Д. Бон-

далетова, с конца XVIII века постепенно теряли популярность и затем почти полностью вышли из употребления.

Назвав своего героя, омещанившегося дворянина, погрязшего в провинциальном убожестве и полной бездуховности, *Никифоровичем* (то есть сыном *Никифора*), Гоголь и в этой малости сохранил верность социально-исторической и художественной правде.

Ошибка Пушкина дважды загадочна. Во-первых, он «перепутал» отчество не случайного человека, увиденного лишь однажды, в суете, на бегу, а отчество, слышанное им накануне, у себя дома, и которое прозвучало во время чтения 170 (сто семьдесят!) раз. Во-вторых, замене подверглось отчество персонажа художественного произведения, которое, являясь элементом цельной художественной системы, неразрывно связано с другими ее элементами. Но, может быть, здесь как раз и есть разгадка, которую мы ищем.

Иван Никифорович в гоголевской «Повести...» существует не просто рядом с Иваном Ивановичем, а в неразрывной связи с ним. Эти два персонажа образуют нерасторжимое единство, основанием и выражением которого является тождество их личных имен, подчеркиваемое и усиливается различиями их отчеств и фамилий. Гоголь тщательно разрабатывает сложную систему различий-тождеств, создающих цельный художественный образ этого двуединства: «Прекрасный человек Иван Иванович! <...> Очень хороший также человек Иван Никифорович <...> Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх <...> Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифорович один раз...» и т. д.

Русская литература с конца XVIII века и до наших дней собрала обширную коллекцию такого рода комических персонажных пар, для которых по сложившейся художественной традиции характерно противопоставление именованных типа *Иван Иванович* и *Петр Иванович*, *Иван Иванович* и *Иван Петрович*, *Иван Иванович* и *Петр Петрович*. При этом чаще используются самые распространенные имена — *Иван* и *Петр*. Лишь иногда к ним добавляется третье имя — *Сидор*.

Гоголь сам стоял у истоков этой литературной традиции, укреплял и развивал ее (ср.: *Петр Иванович Добчинский* и *Петр Иванович Бобчинский*). Однако в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» он намеренно пошел против традиции, поскольку писал не Россию, а Украину, где, кстати, имя *Никифор* и его производное *Никифорович* были более распространенными, чем у русских.

Не заметить этого нарушения Пушкин не мог, а заметив, отразил в своей дневниковой записи, заменив редкое *Никифорович* более употребительным и более «мягким» — *Тимофеевич*. Произошла подмена, осуществленная подсознательным движением пушкинской мысли. Но почему выбор пал именно на это имя?..

В конце лета 1832 года Пушкин набросал первый план будущей «Капитанской дочки». 24 октября 1836 года был послан цензору окончательный текст повести. Между этими двумя датами — четыре года напряженного труда над «Историей Петра», «Историей Пугачева», «Дубровским», другими произведениями. Замысел «Капитанской дочки» то отступает, то вновь становится предметом творческих размышлений. Во второй половине 1832 года составляется второй план повести. 31 января 1833 года набрасывается третий план. В феврале Пушкин обращается к архивным источникам. В марте пишется еще один — четвертый — план. В апреле Пушкин вновь приостанавливает работу над повестью и в предельно сжатый срок — за пять недель — пишет «Историю Пугачева».

Именно в это время в его сознание входят соратники Пугачева — Иван Никифорович Зарубин, носивший прозвища «Чика» и «Граф Чернышев», и Афанасий Тимофеевич Соколов, по прозвищу «Хлопуша», герои исторического исследования, которым в недалеком будущем предстоит перейти на страницы долго и трудно обдумываемой повести... Возможно, так впервые в поле зрения Пушкина оказались рядом два отчества — *Никифорович* и *Тимофеевич*.

Известно также, что с детских — московских — лет Пушкина рядом с ним (в Молдавии, в Москве, в Петербурге, у гроба матери, у смертного одра Пушкина и его открытой могилы, в радости и горе) находился наставник, «дядька», «дядюшка», слуга и товарищ, один из самых близких Пушкину людей, — болдинский крепостной Никита Тимофеевич Козлов (1778—1851). Для Пушкина — мальчика и юноши — Никита. Для взрослого Пушкина — *Тимофеевич* и *дядюшка*. С 1831 года в доме поэта рядом с Никитой Тимофеевичем Козловым живет и Никифор (единственный Никифор в пушкинском окружении) — Никифор Емельянович Федоров, камердинер Пушкина.

Рядом с Пушкиным обнаруживаются и три Ивана Тимофеевича: Иван Тимофеевич Спасский — домашний врач Пушкиных. Поэт упоминает о нем в письмах к Наталье Николаевне в 1832—1834 гг.; Иван Тимофеевич Лисенко — книгопродавец и издатель, распространитель прижизненных изданий поэта; Иван Тимофеевич Калашников — чиновник и литератор. В апреле 1833 года

Пушкин отправил ему благодарственное письмо в связи с получением романа Калашникова «Камчадалка».

2 декабря, принимая Гоголя и слушая его «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», Пушкин, продолжая неотступно думать о «Капитанской дочке», подсознательно соединит всех Никифоровичей и всех Тимофеевичей и, отринув по каким-то неизвестным нам причинам отчетство *Никифорович*, отдаст предпочтение *Тимофеевичу* как имени своего будущего героя.

На следующий день, 3 декабря 1833 года, в дневниковой пушкинской записи появится «случайная» ошибка, где гоголевский Иван Никифорович будет назван Иваном Тимофеевичем.

А еще через два года, когда замысел «Капитанской дочки» будет наконец воплощен в художественный текст, такая же замена превратит в Тимофеевича исторического Ивана Никифоровича, — И. Н. Зарубина: «Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъясляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеечем, а иногда величая его дядюшкой. Все обходились между собою как товарищи (...)» (VI, 313).

В академическом издании романа исследователи, комментируя эти строки VIII главы и объясняя, что речь здесь идет не об Афанасии Тимофеевиче Соколове (Хлопуше), характеристика которого дается далее, в главе XI, а об Иване Никифоровиче Зарубине (Чике), утверждают, что, «назвав последнего «Тимофеечем», Пушкин допустил явную ошибку» (Пушкин А. С. Капитанская дочка. М., 1984. С. 288).

Но можно ли считать ошибкой мелкую историческую неточность в художественном произведении? «Капитанскую дочку» писал автор, заботившийся прежде всего о *художественной правде*, о художественной выразительности. Никто никогда ведь не считал, что Пушкин допустил ошибку, превратив историческую Матрону Кочубей в Марию романтической поэмы «Полтава»!.. Всем понятно: это сознательное, намеренное, художественно оправданное переименование.

О том, как много вложил Пушкин в Пугачева «от себя», когда-то прекрасно написала М. Цветаева. Не так ли и исторического Ивана Никифоровича Зарубина-Чика Пушкин одарил «от себя» не только отчеством своего друга-слуги, но и своим к нему мягким и ласковым обращением — «дядюшка».

Владимир

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПИСАТЕЛЯ

Предвидения В.Ф. Одоевского



М. А. Турьян,
кандидат филологических наук

Известно, что литература отнюдь не была единственной и безраздельной страстью Владимира Федоровича Одоевского (1803—1869). Среди разнообразнейших его занятий немалое место занимали и естественные, и точные науки. Впрочем, «неточные» также — от создания знаменитого домашнего органа «Себастиан» (он же «Савоська») до совершенно, кажется, «несъедобных» гастрономических экспериментов доктора Пуфа, над которыми любил подтрунивать его друг С. А. Соболевский. Друзья и современники посмеивались над ученостью чудаковатого князя и его постоянной одержимостью самой идеей эксперимента — потомки не устают поражаться иным его почти провидческим предощущениям грядущих открытий. Примечательно, однако, что «предощущения» эти обретали подчас и «провидческую» словесную форму — лингвистический «слух» Одоевского был необычайно развит.

В 1868 году писатель делает в своем дневнике две любопытные записи:

6 августа

«Делал опыт с моими акустическими очками в саду; на расстоянии 60 сажен звук струны в 1/2 милим. в диаметре был явственно слышан, словно удары колокола или далекой пушки. Как назвать? *Телефон* (курсив наш.—М. Т.), или звукособиратель? — Далекозвук? — Не хорошо <...>»

30 августа

«Даль советует назвать звукособиратель звучник — не лучше ли созвучник?» (Лит. наследство. 1935. Т. 22—24. С. 245).

Если верить дошедшим до нас сведениям, первые опыты искусственной передачи устной речи на расстояние принадлежат Александру Македонскому: командуя своей многочисленной армией, он уже пользовался рупором. С тех пор человечество, еще верившее в идею коммуникабельности, неустанно пыталось победить расстояние звуком, изобретая и совершенствуя для этого различные способы: например, так называемые «акустические

трубы» — переговорные приспособления, которыми были известны старинные английские конторы и гостиницы.

Однако слово *телефон* впервые прозвучало в мире лишь в 1861 году во Франкфурте-на-Майне, когда преподаватель Фридрихсдорфского университета Иоганн Филипп Рейс сделал здесь в Физическом обществе доклад об изобретенном им электрическом звукопроводном устройстве, названном столь теперь для нас привычно. Демонстрация Рейса (он передавал на расстояние еще не речь, а музыкальную мелодию) между тем успеха не имела, изобретение показалось немыслимым, труд не был принят, и сраженный неудачей физик все дальнейшие «телефонные» работы прекратил навсегда. Только спустя пятнадцать лет после этой знаменательной попытки, не получившей распространения, — и через семь лет после смерти Одоевского — в 1876 году — в Соединенных Штатах Америки патент на изобретение переговорного устройства был выдан знаменитому профессору Бостонского университета Александру Грейаму Беллу. Тогда же было «узаконено» и слово *телефон*, предложенное Рейсом.

Знал ли Одоевский о драматическом эпизоде с Рейсом и о придуманном им названии своего устройства, которому, как оказалось, суждена долгая жизнь, или слово *телефон* родилось у него независимо, по аналогии, скажем, с *телеграфом*, сказать сейчас трудно.

Отказываясь от соблазна эффектной гипотезы, стоит, однако, обратить внимание на другое: так или иначе, уловил ли Одоевский новый термин в потоке, как мы сказали бы сейчас, обильной технической информации середины прошлого столетия или «сконструировал» его сам, по языковое чутье его в данном случае оказалось точнее далевского. Несомненно, здесь сыграла свою роль разносторонняя, в том числе и техническая, образованность писателя.

Поразительными научными предвидениями — тесно вместе с тем связанными с поисками научной мысли того времени — изобилует и неоконченный утопический роман Одоевского «4338-й год». Однако примечательно не только нарисованное в нем будущее технического прогресса. Касаясь, например, столицы России XLIV столетия (именно к нему приурочено действие романа), представляющей собою объединенные в один город Петербург и Москву (идеальное, кстати, разрешение извечного антагонизма обеих столиц!), герой Одоевского сообщает между прочим своему корреспонденту о том, что археологи заняты разрешением «весьма спорной и любопытной задачи, а именно о древнем пазвании Петербурга (...) Исторические свидетельства убеждают, что этот

город был основан тем великим государем, которого он носит имя. Об этом никто не спорит; но открытия некоторых древних рукописей привели к мысли, что, по неизъяснимым причинам, сей знаменитый город в продолжение тысячелетия несколько раз переменил свое название» (Одоевский В. Ф. Повести и рассказы. М., 1959. С. 436; курсив наш.— М. Т.).

Основываясь «на древних свидетельствах», археологи оспаривают три версии наименования города: Петрополь — Петроград — Питер (на этот факт обратил также недавно внимание английский исследователь творчества Одоевского Нил Корнуэлл в кн.: Cornwell Neil. V. F. Odojevsky. His life, times and milieu. London. 1986, p. 65). Действительно, «свидетельства» такие у Одоевского перед глазами были, но ... Что касается первого, то в доказательство здесь же, в романе, приводится «стих древнего поэта» — известная державинская строка из поэмы «Видение мурзы»: «Петрополь с башнями дремал (<...>)» Впрочем, этот поэтический эквивалент «Петербурга» встречается в XVIII веке также у русского литератора В. Г. Рубана; был он довольно широко воспринят и позднее — в частности, Пушкиным. В «Словаре языка Пушкина» зафиксировано четыре случая употребления им «Петрополя». Что касается другого, так же (как определено в «Словаре») «поэтического наименования Петербурга» — «Петроград», то здесь же указано, например, лишь на три случая: в стихотворении «К сестре» (1814. «(<...> И в пышный Петроград / Через долины, горы / Ретивые примчат») и в «Езерском», и в «Медном всаднике», где повторена одна и та же строка: «Над омраченным Петроградом (<...>)» (начало 1 строфы и начало первой части). Бытовое наименование Петербурга — «Питер» — тоже существовало в обиходе, но употреблялось, очевидно, довольно редко. Пушкин лишь однажды написал брату из Тригорского: «Шумит ли Питер?» (Письмо от 1—10 ноября 1824 г.).

Если «спроецировать» все это на Одоевского, картина получается в высшей степени любопытная. Здесь мы сталкиваемся с той же особенностью, с тем же принципом лексического отбора, что и в случае с *телефоном*. Тот факт, что Одоевский не был «первооткрывателем» приведенных им в романе наименований Петербурга, и в данном случае не является определяющим — да и сам писатель на это не претендует и не это имеет в виду. Сила эффекта заключается здесь в том, что он точно улавливает в современном ему речевом потоке эти поэтические и бытовые формулы и смело переводит их в совершенно иной семантический регистр, соединяя со своей пророческой идеей.

Ленинград

Язык и стиль рассказа Л. Н. Андреева „ГОРОД“

Н. А. Шипачева

Один из интереснейших русских писателей Леонид Николаевич Андреев (1871—1919) тонко чувствовал слово, добиваясь наибольшей его выразительности. Достаточно обратиться к небольшому рассказу «Город» (1902), чтобы почувствовать особую художественную манеру письма талантливого литератора.

В этом рассказе Андреев обращается к судьбе личности в буржуазном мире, показывает одиночество и неприкаянность индивидуума в общественной среде, где каждому дело лишь до самого себя.

Отношение писателя к городу отражено уже в самом названии рассказа. Перед нами предстает не какой-то определенный город, носящий конкретное название, имеющий свои отличительные черты, по которым его легко узнать (как это встречаем, например, у Ф. М. Достоевского), а нечто абстрактное — просто *город*, любой, всякий, типичный для начала XX века, некий символ буржуазного мира.

Всего лишь два прилагательных и однокоренные с ними слова, употребленные в тексте небольшого рассказа несколько раз, определяют характерные особенности этого города: он «громаден», «многолюден», поражает своей «громадностью» и «многолюдием». Уточняя этот признак, развертывая его с помощью эпитетов-синонимов к указанным прилагательным, автор вместе с тем углубляет и образ города, называя его главную отличительную черту: в нем было «что-то упорное, непобедимое и равнодушно-жесткое» (здесь и далее курсив наш.— Н. Ш.).

Другим отличительным признаком города является, по Андрееву, его «каменность». Для писателя *каменный* — это не только «сделанный из камня», но и прежде всего «равнодушный». Не случайно рядом с этим определением в тексте стоят и другие, имеющие общее значение «большой в объеме, в обхвате»: *каменные раздутые дома, толстые каменные дома, толща каменных*

домов, толстые, распертые каменные дома. «Колоссальной тяжестью своих каменных раздутых домов» город давит не только на землю, но и на человека, делая его *каменным*, то есть безжалостным, жестоким, заставляя застыть в *каменном* равнодушии к людям.

Город предстает каменным чудовищем, страшным и злоеющим исполином: здесь перед жестокой и равнодушной, а потому и враждебной силой человек не может себя чувствовать иначе, как «песчинкой среди других песчинок». Эти безымянные «песчинки» настолько похожи, что жителей *своего* города автор называет: *они, масса, лица, люди, многие, множество, множество людей, много людей, народ, много народу, другие гости, все другие.*

Жизнь в городе, в похожих один на другой домах, наложила отпечаток и на внешний облик людей, и на их внутренний мир, стандартизировала всю их жизнь: все во *фраках* и с складными цилиндрами; все говорят, не слыша другого; делают никому не нужные визиты, для приличия. Писатель, подчеркивая обезличенность этих людей, называет их «лысый, который служит где-то, кажется, в почтамте; белокуренький; совсем седой»; «какая-то дама», «незнакомая дама»; «толстый господин»; «горбач»; «горбатенький»; «тот, другой, без имени и фамилии». Замена собственных имен видовыми и родовыми понятиями или местоимениями, имеющими предельно обобщенное значение, помогает автору создать некий социальный тип городского буржуазного общества. Той же цели служит обыгрывание фамилий, которые имеют лишь некоторые персонажи рассказа, но они, в отличие от так называемых «говорящих фамилий», не являются характерными, потому что ничего не дают для индивидуализации тех, кому принадлежат (Петров, Смирнов, Семенов, Антонов, Никифоров).

Оба главных героя — Петров и «тот, другой» — занимают в рассказе особое положение. С одной стороны, оба они принадлежат к безликой массе жителей города, являясь порождением ее, а с другой, — писатель наделяет их некоторыми чертами, позволяющими говорить о том, что на общем фоне окружающей их среды они выступают на передний план. И если автор снабжает одного фамилией, индивидуализирует его портрет, рассказывает об отдельных событиях его жизни, то о втором герое, не имеющем имени, говорит еще меньше. Второй не имеет *лица*, не обрисован и его внешний облик. Не случайно, что и автор, и Петров называют его «тот» или «тот, другой». Местоимение *тот* указывает на что-то отдаленное в пространстве или во времени. Называя так своего героя, автор лишь подчеркивает, что он реально существует, но не является индивидуальностью,

Мучительно ищет спасения от одиночества в огромном городе чиновник Петров. Писатель скрупулезно исследует поведение своего героя на пути обретения душевного равновесия и веры в то, что жизнь может быть лучше, человечнее. Однако не приносят облегчения Петрову ни дневные прогулки по шумным улицам города, населенного множеством людей, среди которых можно затеряться и не чувствовать себя одиноким («он задыхается и слепнет» среди толщи каменных домов, хочет «вырваться из каменных объятий»), ни ночные прогулки по тихим и пустынным переулкам, когда дома высятся глухой стеной и в них все те же чужие и незнакомые люди. Обречены на неудачу и все попытки героя найти спасение от одиночества в самом одиночестве, в уединении, в воспоминаниях о близких и знакомых ему людях, поскольку даже «их близкие, изученные лица были как стена». О глухую стену непонимания и враждебности разбиваются иллюзорные надежды Петрова, и он по-прежнему ощущает себя одиноким. Обретает силу стилистический прием антитезы: я — они, один — множество, близкие и знакомые — чужие и незнакомые.

И вот на фоне всеобщего отчуждения, равнодушия и оцепенелости происходят встречи героя с «тем, другим». Начавшись для каждого из них с традиционных ежегодных визитов в дом Василевских, эти встречи постепенно перерастают в знакомство, в результате которого возникает потребность в общении друг с другом. Но процесс сближения идет крайне медленно, внутреннее движение навстречу друг другу почти незаметно и самими героями еще не осознано.

С самого начала общение их в основном ограничивается «дежурными» фразами, почти ничего не значащими и производящими впечатление своеобразной ритуальности. Но когда при очередной встрече они начинают испытывать симпатию, эти фразы становятся как бы сигналами их взаимной приязни. Постепенно их реакции друг на друга приобретают эмоциональную окраску (Петров, «увидев того, другого, обрадовался», а «тот, другой, очень обрадовался, когда увидел... Петрова»). Уже по-иному звучат их разговоры, сквозь скованность пробиваются определенные человеческие чувства (жалость, огорчение, беспокойство). Складывается впечатление, что говорящий и слушающий понимают друг друга, как понимают друг друга люди, близкие по духу. Но это не совсем так. Они оба говорят и думают, но каждый о своем...

Стремление поделиться самым сокровенным, рассказать о том, что мучает, свидетельствует об искренних человеческих чувствах, о родственности душ, о ростках жизни в холодном городе. Но

этим отдельным росткам, слабым и беспомощным, суждено исчезнуть под давлением монолитной и губительной силы города, обстоятельств и условий, ею порождаемых. Спустя некоторое время Петров и «тот, другой» перестают бывать у Василевских. Так затерялись и исчезли два человека в каменном городе, который стал еще больше и поглотил «широкое свободное поле».

Город превращается в расширяющееся кладбище человеческих надежд, желаний, стремлений, поисков новой жизни; растет *мертвый* город, который воспринимается автором как нечто чуждое людям, гасящее интерес к себе подобным, унифицирующее их, вытравляющее в них черты индивидуальности. Слово *кладбище* у писателя приобретает метафорический смысл, выступая как символ распада человеческих отношений.

Определенную роль в создании художественного образа играют и синтаксические средства. Большие по объему и сложные по форме синтаксические конструкции (их более 30) появляются в рассказе в тех ситуациях, когда автору необходимо передать экспрессию образа. Они, как правило, осложнены несколькими рядами однородных и обособленных членов, вводными словами и др.

Диалоги в рассказе предельно лаконичны. Но в данном случае речь идет не о лаконизме содержания, а о лаконизме формы: собеседники по воле и замыслу автора поставлены в такие условия, когда нечего сказать друг другу, но сделать это необходимо. Отсюда и минимальное количество реплик в диалогах: две, то есть вопрос — ответ. Этим объясняется также минимальное количество информации, которая заключена в этих репликах: чаще всего они, как эхо, дословно (или почти дословно) повторяют одна другую.

Щемящее чувство боли и беспокойства, которое сохраняется после прочтения этого талантливое произведения, уравновешивается скрытой в подтексте рассказа светлой верой писателя в то, что души людей не умертвели полностью, что у людей всегда есть возможность протянуть руки навстречу друг другу.

Леонид
Андреев

ГОРОД



ЭТО был огромный горд, в котором жили они: чиновник коммерческого банка Петров и тот, другой, без имени и фамилии.

Встречались они раз в год — на пасху, когда оба делали визит в один и тот же дом господ Василевских. Петров делал визиты и на рождество, но, вероятно, тот, другой, с которым он встречался, приезжал на рождество не в те часы, и они не видели друг друга. Первые два-три раза Петров не замечал его среди других гостей, но на четвертый год лицо его показалось ему уже знакомым, и они поздоровались с улыбкой, — а на пятый год Петров предложил ему чокнуться.

— За ваше здоровье! — сказал он приветливо и протянул рюмку.

— За ваше здоровье! — ответил, улыбаясь, тот и протянул свою рюмку.

Но имени его Петров не подумал узнать, а когда вышел на улицу, то совсем забыл о его существовании и весь год не вспоминал о нем. Каждый день он ходил в банк, где служил уже десять лет, зимой изредка бывал в театре, а летом ездил к знакомым на дачу, и два раза был болен инфлуэнцей — второй раз перед самой пасхой. И, уже всходя по лестнице к Василевским, во фраке и с складным цилиндром под мышкой, он вспомнил, что увидит там того, другого, и очень удивился, что совсем не

может представить себе его лица и фигуры. Сам Петров был низенького роста, немного сутулый, так что многие принимали его за горбатого, и глаза у него были большие и черные с желтоватыми белками. В остальном он не отличался от всех других, которые два раза в год бывали с визитом у господ Василевских, и когда они забывали его фамилию, то называли его просто «горбатенький».

Тот, другой, был уже там и собирался уезжать, но, увидев Петрова, улыбнулся приветливо и остался. Он тоже был во фраке и тоже с складным цилиндром, и больше ничего не успел рассмотреть Петров, так как занялся разговором, едой и чаем. Но выходили они вместе, помогали друг другу одеваться, как друзья; вежливо уступали дорогу и оба дали швейцару по полтиннику. На улице они немного остановились, и тот, другой, сказал:

— Дань! Ничего не поделаешь.

— Ничего не поделаешь,— ответил Петров,— дань!

И так как говорить было больше не о чем, они ласково улыбнулись, и Петров спросил:

— Вам куда?

— Мне налево. А вам?

— Мне направо.

На извозчике Петров вспомнил, что он опять не успел ни спросить об имени, ни рассмотреть его. Он обернулся: взад и вперед двигались экипажи,— тротуары чернели от идущего народа, и в этой сплошной движущейся массе того, другого, нельзя было найти, как нельзя найти песчинку среди других песчинок. И опять Петров забыл его и весь год не вспоминал.

Жил он много лет в одних и тех же меблированных комнатах, и там его очень не любили, так как он был угрюм и раздражителен, и тоже называли «горбачом». Он часто сидел у себя в номере один и неизвестно, что делал, потому что ни книжку, ни письмо коридорный Федот не считал за дело. По ночам Петров иногда выходил гулять, и швейцар Иван не понимал этих прогулок, так как возвращался Петров всегда трезвый и всегда один — без женщины.

А Петров ходил гулять ночью потому, что очень боялся города, в котором жил, и больше всего боялся его днем, когда улицы полны народа.

Город был громаден и многолюден, и было в этом многолюдии и громадности что-то упорное, непобедимое и равнодушно-жестокое. Колоссальной тяжестью своих каменных раздутых домов он давил землю, на которой стоял, и улицы между домами были узкие, кривые и глубокие, как трещины в скале. И каза-

лось, что все они охвачены паническим страхом и от центра стараются выбежать на открытое поле, но не могут найти дороги, и путаются, и клубятся, как змеи, и перерезают друг друга, и в безнадежном отчаянии устремляются назад. Можно было по целым часам ходить по этим улицам, изломанным, задохнувшимся, замершим в страшной судороге, и все не выйти из линии толстых каменных домов. Высокие и низкие, то краснеющие холодной и жидкой кровью свежего кирпича, то окрашенные темной и светлой краской, они с непоколебимой твердостью стояли по сторонам, равнодушно встречали и провожали, теснились густой толпой и впереди и сзади, теряли физиономию и делались похожи один на другой — и идущему человеку становилось страшно: будто он замер неподвижно на одном месте, а дома идут мимо него бесконечной и грозной вереницей.

Однажды Петров шел спокойно по улице — и вдруг почувствовал, какая толща каменных домов отделяет его от широкого, свободного поля, где легко дышит под солнцем свободная земля и далеко окрест видит человеческий глаз. И ему почудилось, что он задыхается и сплещет, и захотелось бежать, чтобы вырваться из каменных объятий, — и было страшно подумать, что, как бы скоро он ни бежал, его будут провожать по сторонам все дома, дома, и он успеет задохнуться, прежде чем выбежать за город. Петров спрятался в первый ресторан, какой попался ему по дороге, но и там ему долго еще казалось, что он задыхается, и он пил холодную воду и протирал платком глаза.

Но всего ужаснее было то, что во всех домах жили люди. Их было множество, и все они были незнакомые и чужие, и все они жили своей собственной, скрытой для глаз жизнью, непрерывно рождались и умирали, — и не было начала и конца этому потоку. Когда Петров шел на службу или гулять, он видел уже знакомые и приглядевшиеся дома, и все представлялось ему знакомым и простым; но стоило, хотя бы на миг, остановить внимание на каком-нибудь лице — и все резко и грозно менялось. С чувством страха и бессилия Петров вглядывался во все лица и понимал, что видит их первый раз, что вчера он видел других людей, а завтра увидит третьих, и так всегда, каждый день, каждую минуту он видит новые и незнакомые лица. Вон толстый господин, на которого глядел Петров, скрылся за углом — и никогда больше Петров не увидит его. Никогда. И если захочет найти его, то может искать всю жизнь и не найдет.

И Петров боялся огромного, равнодушного города.

В этот год у Петрова опять была инфлуэнца, очень сильная, с осложнением, и очень часто являлся насморк. Кроме того, док-

тор нашел у него катар желудка, и когда наступила новая пасха и Петров поехал к го-подам Василевским, он думал дорогой о том, что он будет там есть. И, увидев того, другого, обрадовался и общил ему:

— А у меня, батенька, катар.

Тот, другой, с жалостью покачал головой и ответил:

— Скажите пожалуйста!

И опять Петров не узнал, как его зовут, но начал считать его хорошим своим знакомым и с приятным чувством вспоминал о нем. «Тот»,— называл он его, но когда хотел вспомнить его лицо, то ему представлялись только фрак, белый жилет и улыбка, и так как лицо совсем не вспоминалось, то выходило, будто улыбаются фрак и жилет. Летом Петров очень часто ездил на одну дачу, носил красный галстук, фабрил усики и говорил Федоту, что с осени переедет на другую квартиру, а потом перестал ездить на дачу и на целый месяц запил. Пил он нелепо, со слезами и скандалами: раз выбил у себя в номере стекло, а другой раз напугал какую-то даму — вошел к ней вечером в номер, стал на колени и предложил быть его женой. Незнакомая дама была проститутка и сперва внимательно слушала его и даже смеялась, но, когда он заговорил о своем одиночестве и заплакал, приняла его за сумасшедшего и начала визжать от страха. Петрова вывели; он упирался, дергал Федота за волосы и кричал:

— Все мы люди! Все братья!

Его уже решили выселить, но он перестал пить, и снова по почам швейцар ругался, отворяя и затворяя за ним дверь. К Новому году Петрову прибавили жалованья: 100 рублей в год, и он переселился в соседний номер, который был на пять рублей дороже и выходил окнами во двор. Петров думал, что здесь он не будет слышать грохота уличной езды и может хоть забывать о том, какое множество незнакомых и чужих людей окружает его и живет возле своей особенной жизнью.

И зимой было в номере тихо, но, когда наступила весна и с улиц скололи снег, опять начался грохот езды, и двойные стены не спасали от него. Днем, пока Петров был чем-нибудь занят, сам двигался и шумел, он не замечал грохота, хотя тот не прекращался ни на минуту; но приходила ночь, в доме все успокаивалось, и грохочущая улица властно врывалась в темную комнату и отпимала у нее покой и уединенность. Слышны были дребезжанье и разбитый стук отдельных экипажей; негромкий и жидкий стук зарождался где-то далеко, разрастался все ярче и громче и постепенно затихал, а на смену ему являлся новый, и так без переыва. Иногда четко и в такт стучали одни подковы лошадей и не

слышно было колес — это проезжала коляска на резиновых шинах, и часто стук отдельных экипажей сливался в мощный и страшный грохот, от которого начинали подергиваться слабой дрожью каменные стены и звякали склянки в шкапу. И все это были люди. Они сидели в пролетках и экипажах, ехали неизвестно откуда и куда, исчезали в неведомой глубине огромного города, и на смену им являлись новые, другие люди, и не было конца этому непрерывному и страшному в своей непрерывности движению. И каждый проехавший человек был отдельный мир, со своими законами и целями, со своей особенной радостью и горем, — и каждый был как призрак, который являлся на миг и, неразгаданный, неузнанный, исчезал. И чем больше было людей, которые не знали друг друга, тем ужаснее становилось одиночество каждого. И в эти черные, грохочущие ночи Петрову часто хотелось закричать от страха, забиться куда-нибудь в глубокий подвал и быть там совсем одному. Тогда можно думать только о тех, кого знаешь, и не чувствовать себя таким беспредельно одиноким среди множества чужих людей.

На пасху того, другого, у Василевских не было, и Петров заметил это только к концу визита, когда начал прощаться и не встретил знакомой улыбки. И сердцу его стало беспокойно, и ему вдруг до боли захотелось увидеть того, другого, и что-то сказать ему о своем одиночестве и о своих ночах. Но он помнил очень мало о человеке, которого искал: только то, что он средних лет, кажется, блондин и всегда одет во фрак, и по этим признакам господу Василевские не могли догадаться, о ком идет речь.

— У нас на праздники бывает так много народу, что мы не всех знаем по фамилиям, — сказала Василевская. — Впрочем... не Семенов ли это?

И она по пальцам перечислила несколько фамилий: Смирнов, Антонов, Никифоров; потом без фамилий: лысый, который служит где-то, кажется, в почтамте; белокуренький; совсем седой. И все они были не тем, про которого спрашивал Петров, но могли быть и тем. Так его и не нашли.

В этот год в жизни Петрова ничего не произошло, и только глаза стали портиться, так что пришлось носить очки. По ночам, если была хорошая погода, он ходил гулять и выбирал для прогулки тихие и пустынные переулки. Но и там встречались люди, которых он раньше не видал, а потом никогда не увидит, а по бокам глухой стеной высились дома, и внутри их все было полно незнакомыми, чужими людьми, которые спали, разговаривали, ссорились; кто-нибудь умирал за этими стенами, а рядом с ним новый человек рождался на свет, чтобы затеряться на время в его

движущейся бесконечности, а потом навсегда умереть. Чтобы утешить себя, Петров перечислял всех своих знакомых, и их близкие, изученные лица были как стена, которая отделяет его от бесконечности. Он старался припомнить всех: знакомых швейцаров, лавочников и извозчиков, даже случайно запомнившихся прохожих, и вначале ему казалось, что он знает очень много людей, но когда начал считать, то выходило ужасно мало: за всю жизнь он узнал всего двести пятьдесят человек, включая сюда и того, другого. И это было все, что было близкого и знакомого ему в мире. Быть может, существовали еще люди, которых он знал, но он их забыл, и это было все равно, как будто их нет совсем.

Тот, другой, очень обрадовался, когда увидел на пасху Петрова. На нем был новый фрак и новые сапоги со скрипом, и он сказал, пожимая Петрову руку:

— А я, знаете, чуть не умер. Схватил воспаление легких, и теперь тут,— он постучал себя о бок,— в верхушке не совсем, кажется, ладно.

— Да что вы? — искренно огорчился Петров.

Они разговорились о разных болезнях, и каждый говорил о своих, и когда расставались, то долго пожимали руки, но об имени спросить забыли. А на следующую пасху Петров не явился к Василевским, и тот, другой, очень беспокоился и расспрашивал г-жу Василевскую, кто такой горбаченький, который бывает у них.

— Как же, знаю,— сказала она.— Его фамилия Петров.

— А зовут как?

Госпожа Василевская хотела сказать, как зовут, но оказалось, что не знала, и очень удивилась этому. Не знала она и того, где Петров служит: не то в почтамте, не то в какой-то бакирской конторе.

Потом не явился тот, другой, а потом пришли оба, но в разные часы, и не встретились. А потом они перестали являться совсем, и господа Василевские никогда больше не видели их, но не думали об этом, так как у них бывает много народу и они не могут всех запомнить.

Огромный город стал еще больше, и там, где широко расстиралось поле, неудержимо протягиваются новые улицы, и по бокам их толстые, распертые каменные дома грузно давят землю, на которой стоят. И к семи бывшим в городе кладбищам прибавилось повое, восьмое. На нем совсем нет зелени, и пока на нем хоронят только бедняков.

И когда наступает длинная осенняя ночь, на кладбище становится тихо, и только далекими отголосками приносится грохот уличной езды, которая не прекращается ни днем, ни ночью.

АНДРЕЙ БИТОВ

«Ты один мне поддержка и опора...»

Из стихотворений в критике

«Словарь эпитетов русского литературного языка». Л.: Наука, 1979...

Трудно заподозрить составителей в чем-либо, кроме добросовестности. Не знаю, какие у них были методы подсчета употребимости тех или иных слов. Безусловно, какие-то были. По возможности, точные. Научные. В длинном столбце эпитетов изредка попадаются в скобочках примечания типа: (поэт.) — поэтический, (шутл.) — шутливый или (устар.) — устаревший. Так вот — устар...

Из 28 эпитетов к слову ДОМ «устар.» — три: **отчий, порядочный** и **честный**. Причем *порядочный дом* даже больше, чем устар. — он «устар. и шутл.»

Из нескольких сот эпитетов к слову РАБОТА устар. — два: **духовная** и **изрядная**.

Из 53 эпитетов к слову МЕСТО устар. — **живое**.

Из 75 эпитетов к слову СМЫСЛ устар. — **существенный**.

Что за слово, однако, УСТАР — и устал, и умер!

Устар *горе отчаянное* и *лето плодоносное* — устар.

Устар *деньги трудные* и *страх божий* — устар.

Устар *опыт фамильный* и *лоб возвышенный* — устар.

Устар *ум холодный*, но и *ум мятежный* — устар.

Устар *мысль прекраснодушная*, но и *мысль храбрая* — устар.

Устар *надежда вольнолюбивая*, но и *надежда конечная* — устар.

РАДОСТЬ устарела и **быстротечная**, и **забывчивая**, и **легкокрылая**, и **лучезарная**, и **лучистая**, и **нищенская**, и **святая**.

Зато ПЫТКА не устарела и устаревшая: ни **дьявольская**, ни **зверская**, ни **изуверская**, ни **инквизиторская**, ни **лютая**, ни **средневековая**, ни **чудовищная**.

Может, потому, что устарело само слово *пытка*?.. Так, к слову СОВЕСТЬ вы не найдете ни одного эпитета, потому что слова этого нет в словаре вообще. Как нет в нем и слова ЧЕЛОВЕК.

Устар МИР — **благодатный**, **благодетельный**, **благополучный**, **блаженный**.

Устар МИР — несправедный и святой.

Словарь открывается авторитетом безграничным и завершается яростью удушливой и четкой.

До публикации критического отклика писателя А. Г. Битова на «Словарь эпитетов русского литературного языка» К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло редакция сочла необходимым ознакомить с его содержанием одного из составителей Словаря. В ответ на высказанные А. Г. Битовым претензии к изданию ученый-лексикограф, редактор нового издания «Словаря современного русского литературного языка», доктор филологических наук К. С. Горбачевич любезно откликнулся следующим комментарием-разъяснением.

КНИГИ ИМЕЮТ СВОЮ СУДЬБУ

Это ставшее крылатым выражение римского грамматика Теренциана (III век н. э.) в полной мере приложимо и к словарям. Словари охотно покупают, нередко читают, иногда хвалят, но чаще, увы, поругивают, что в общем-то легко объяснимо. Как продукт национальной цивилизации словарь — это и хранилище народного сознания, и орудие повышения речевой культуры. «Словарь, — вдохновенно замечал Анатолий Франс, — это вся вселенная в алфавитном порядке!» А легко ли вместить необъятную вселенную в строго регламентированный объем общедоступной книги? Ведь словарь приобретают академик и студент, видный писатель и типографский наборщик. Каждый ищет в нем что-то свое, нужное именно ему. Ищет, но, к сожалению, не всегда находит. Вот почему словари часто не по своей вине оказываются столь уязвимы для критики.

После выхода в свет «Словаря эпитетов русского литературного языка» (Л.: Наука, 1979) авторы получили десятки доброжелательных писем от учителей, журналистов, сотрудников «Литературной газеты», переводчиков, ученых (среди них от таких известных языковедов, как Р. А. Будагов и В. Г. Костомаров) и многих любителей родного русского слова. В журналах «Русская речь» (1980. № 5), «Журналист» (1980. № 6), «Литературной газете» (1980. 7 мая) и других изданиях появились отклики на этот в сущности первый словарь русских эпитетов. Большинство рецензентов отмечало информативную насыщенность (ко многим словам, например *взгляд, глаза, мысль*, имеются сотни эпитетов),

и строгую документацию материала (в Словаре приведены тысячи цитат из русской классической и советской литературы). Не обойдена вниманием критики была и теоретическая сторона дела. «...Богатейший материал „Словаря эпитетов”, — писал в рецензии Р. А. Будагов, — дает возможность вполне наглядно убедиться в принципиальном различии между естественными языками и так называемыми кодовыми построениями» (Русская речь. 1980. № 5).

Словарь, как замечали многие, ярко демонстрирует мудрую мысль Пушкина о том, что язык неистощим в соединении слов. В самом деле, слово *дремучий* мы обычно привыкли видеть в соседстве со словами *лес*, *бор*, в Словаре же в качестве редких эпитетов приведены: *дремучие глаза* (Р. Казакова), *дремучий иней* (О. Берггольд), *дремучая трава* (А. Твардовский). В художественной речи раздвигает границы сочетаемости и прилагательное *крошечный*: *крошечная битва* (В. Распутин), *крошечная судьба* (А. Твардовский). И такие неповторимые писательские находки, думается, обогащают и наш речевой опыт.

Разумеется, не все отклики на Словарь были столь благоприятны. Так, ленинградская поэтесса Майя Борисова заметила, что словарь словарем, но она при выборе нужного эпитета больше полагается на собственное озарение. Что ж, с этим трудно не согласиться. Авторы словаря, впрочем, и не помышляли учить писателей. Наоборот, их задача состояла в том, чтобы показать неисчерпаемые богатства русского языка через видение мира самими художниками слова.

Возражения некоторых писателей направлены против стилистических помет (*просторечное*, *устарелое*, *поэтическое* и т. п.). Это старый и бесплодный спор между литераторами и языковедами. Вспомним бурную полемику А. Югова с авторами современных толковых словарей: «Русский язык сам собой правит! Нормативная лексикография — пережиток!» Все это не более, как недоразумение.

Ни один лексикограф не посягал и не посягает на неоспоримые права писателя пользоваться любым словом родного языка. Смысл стилистических помет (об этом говорилось уже десятки раз) не в запрещении, а в показе функциональной или временной приуроченности того или иного слова. Добавлю, типичной приуроченности. По этому пути, имея в виду массового читателя, пошел и Словарь эпитетов. Вот почему и появились там пометы *устарелое*, *просторечное*, *поэтическое* и пр. Причем основанием для стилистической характеристики эпитета служило не субъективное представление составителей, а фактический материал обшир-

ной картотеки цитат из произведений XIX–XX веков. Так, к эпитету *легкокрылая радость* поставлена помета *устар. поэт.* (устарелое, поэтическое), поскольку у современных авторов такое сочетание не встретилось. См. у Пушкина: «Где легкокрылая мне изменила радость И сердце хладное страданью предала» (Погасло дневное светило). Сейчас о размере и форме лба говорят: *большой, высокий, покатый, плоский, прямой* и т. п. А в середине XIX века писали еще: *возвышенный лоб*. Поэтому в Словаре этот эпитет характеризуется как устарелый. Что, впрочем, опять-таки не означает, что в художественных целях такое употребление запрещается.

И, наконец, последнее. Об объеме словарей. Нет нужды доказывать, что абсолютно полных словарей вообще не существует. Исчерпывающе охватить лексику живого литературного языка, когда почти каждый прожитый день рождает новое слово, практически невозможно. Что касается Словаря эпитетов, то приведу справедливые, на мой взгляд, слова одного из его рецензентов, писателя Ильи Фоянкова: «Чтобы достичь хотя бы относительной полноты словаря, надо было бы совершить невозможное: прочесть и расписать на карточки по крайней мере все художественные книги, вышедшие на русском языке. И не только книги, но и журналы, и альманахи, и газеты». Такую попытку рецензент называет безнадежной, но героической. «А деяния такого рода, — заканчивает статью И. Фоянков, — имеют свою цену в науке о литературе и языке» (Знамя. 1981. № 1).

Ленинград

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Скажите, пожалуйста, *гнездо* и *гнездовье* — это одно и то же?»

Л. П. Волошина, *Донецкая обл.*

Нет, эти слова различаются по значению.

Гнездо — место, устраиваемое или приспособляемое птицами для кладки яиц и высиживания птенцов; жилье животного.

Гнездовье — место гнездования, место обитания некоторых животных и птиц.

В разговорной речи нередко слово *гнездовье* ошибочно используют вместо слова *гнездо*. Например, неправильно: «Птицы нуждаются в искусственных *гнездовьях*» (следует сказать *гнездах*).

Следующая станция — Серпуховская?

В. Л. Воронцова,
доктор филологических наук



ногих пассажиров Московского метрополитена интересует произношение названия одной из станций — *Серпуховская* (с ударением на *-ская*) и наименование *Серпуховской* (с ударением на *-ской*) радиус метро. Они считают такое произношение ошибочным, полагая, что следует произносить *Серпуховская* (*Серпуховский*) или *Серпуховская* (*Серпуховский*).

Ошибочно ли произношение *серпуховской*? Как оно появилось? Какое место занимает в современных наименованиях?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо представить себе историю слова и акцентные закономерности, свойственные той группе прилагательных, к которым принадлежит прилагательное *серпуховской*, то есть прилагательным, образованным с помощью суффикса *-ск* от географических названий и — шире — от имен существительных нарицательных. При этом следует иметь в виду, что сами эти закономерности не остаются неизменными. Ведь русское ударение — явление очень сложное. В современном его размещении отразились многие старые закономерности, которые теперь не действуют. Вместе с тем складываются новые тенденции, под влиянием которых многие старые (и традиционные для литературного языка) ударения «перестраиваются», возникают их колебания. Эти изменения коснулись и прилагательного *серпуховской*.

В русском языке наряду с большим числом прилагательных на *-ский*, сохраняющих ударение соответствующего существительного (*январь* — *январский*, *посёл* — *посёльский*), есть сравнительно небольшая группа прилагательных на *-ской*. В большинстве своем это слова, образованные от существительных с так называемым подвижным ударением, то есть ударением, перемещающимся при склонении на другой слог: *слободской* (*слободá*, *слободы́*, множ. ч. *слободы*, *слобод*, *слободáм*), *городской* (*гóрод*, *гóрода*, множ. ч. *гóродá*, *гóродв*, *гóродáм*). Упрощенно говоря, фонетическая особенность основы таких слов состояла в том, что она не удерживала ударения на том или ином слоге и не препятствовала его перемещению при определенных условиях. Подобное ударение на оконча-

нии получали прилагательные и с другими суффиксами, если были образованы от существительных с подвижным ударением: *ручной* (*рука́, руки́, рúку*, множ. ч. *ру́ки, рук, рука́м*), *береговой* (*бе́рег, берега́*, множ. ч. *берега́, берегов*) и др.

Отмеченная закономерность, хорошо известная и подробно описанная в науке, не действует, однако, повсеместно. Это объясняется рядом причин и в первую очередь — появлением в русском языке, начиная с XVIII века, множества заимствованных слов, которые не сразу усваивали тот или иной тип ударения. Иногда прилагательное образовывалось и закреплялось в речевой практике раньше, чем существительное усваивало подвижный тип ударения.

Если обратиться теперь к группе прилагательных с суффиксом *-ск*, образованных от географических названий, то и здесь можно увидеть определенные закономерности. Большинство таких прилагательных имеет ударение на том же слоге, что и название, от которого прилагательное образовано (*Тамбо́в — Тамбо́вский, Углич — угличский*), или имеет закономерный сдвиг вправо: *Астрахань — астраха́нский, Новгород — новгоро́дский*. Небольшая группа прилагательных характеризуется ударением на окончании: *донско́й, костромско́й, тверско́й, хохломско́й*; при наличии колебаний в ударении — также *сумско́й, чухломско́й* (см.: Е. А. Левашов. Словарь прилагательных от географических названий. М., 1986).

Как можно видеть, ударение на *-ско́й* свойственно прилагательным, образованным от имен с односложной основой: *донско́й — Дон, тверско́й — Тверь*. Заметим, что здесь представлен и особый вид подвижности ударения — форма предложного падежа на *-у* и *-и*: на *Дону́, в Твери́*.

Другие прилагательные этой группы образованы от имен, имеющих (или имевших в прошлом) ударение на окончании: *костромско́й — Костромá, хохломско́й — Хохломá, чухломско́й — Чухломá* (известно и ударение *Чу́хлома*, см. упомянутый словарь Е. А. Левашова). К данной группе до недавнего времени относилось и прилагательное *псковско́й*, соотносимое с наименованием *Псков*, словом с односложной основой (или наименованием реки *Пскова́* — словом с ударением на окончании). В официальных наименованиях принято ударение *псковский* (как *Псков*): *Псковская область*. Вне же этих наименований и сейчас известно ударение *псковско́й*, характеризующее с точки зрения нормы как местное:

Как часто слово нам не друг, а недруг!

От пошлости себя не уберечь.

Но здесь в псковских языкотворных недрах

Еще жива живая наша речь.

П. Ойфа. На псковской земле

Поблекнет в сравнении с вещим,
 Мятежным, чумным, колдовским...
 А он захохочет вдруг лешим,
 Коломенским, курским, псковским.

А. Поперечный. Русский язык

Включение в группу на *-скóй* и прилагательного *серпуховскóй*, соотносимого со словом *Сёрпухов*, имеющего иную, чем рассмотренные слова, словообразовательную структуру, может казаться не совсем понятным. Однако этот факт можно объяснить, ориентируясь на акцентные особенности слова, лежащего в основе рассматриваемого наименования, а также учитывая влияние аналогий, сложившихся акцентных традиций.

Серпухов, по данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, соотносится с диалектным словом *серпѹх* «серп». Если верна эта гипотеза (есть и другие предположения), то в основе названия *Серпухов* следует видеть слово *серп*. Исконной акцентной особенностью этого слова (в древнерусском языке оно имело вид *сърпѣ*) было ударение на окончании, которое в словоизменительных формах сохранилось и до наших дней: *серпá*, *серпѹ*, множ. ч. *серпѣи*, *серпѣв*. При образовании других слов от этой основы ударение могло передаваться соответствующим словообразовательным элементам, ср. упомянутое *серпѹх*, название реки *Серпейка*, отмеченные в Толковом словаре В. И. Даля, *серповѹще*, прилагательное *серповѣй* (*серповáя колодка*).

При условии, что ударение не удерживалось на корне слова, а смещалось на словообразовательные элементы, можно предположить закономерность его смещения на окончание и в прилагательном *серпуховскóй*. Подобное смещение легко предположить, исходя из определенной «акцентной ситуации», свойственной древней эпохе с характерным для нее разграничением книжной и народной акцентовок. По отношению к именам прилагательным, как показывает исследование А. А. Зализняка «От праславянской акцентуации к современной» (М., 1985), речь идет о противопоставлении в определенных группах слов ударения на основе (книжное) ударению на окончании (народное). Не останавливаясь подробно на рассмотрении этих отличий, упомянем фамилии типа *Грязнѣй*, *Толстѣй*, сохранивших старую (народную) акцентовку прилагательных. Эта продуктивная некогда модель сохраняется и в произношении фамилий типа *Шаховскóй*.

Таким образом, ударение *серпуховскóй* можно квалифицировать как закономерное и давно известное в языковой традиции.

Имеющиеся материалы, в частности данные Советской исторической энциклопедии (1969. Т. 12) и Большой Советской Энцик-

лопедии (1976. Т. 23), указывают на ударенное окончание в наименованиях *Серпуховскбе княжество* (выделилось в 1341 г. по завещанию Ивана Калиты в удел сыну Андрею и существовало до 1456 г.), *князь серпуховскбй*. В БСЭ (1945. Т. 51) читаем: «В 1380 князь Владимир Андреевич серпуховской [написание свидетельствует о произношении *серпуховскбй*.— В. В.] со своими воинами участвовал в Куликовском сражении...»

Примеры такого именно произношения в данных наименованиях находим у старых поэтов (размеры стиха позволяют его выявить), хорошо знавших историческую традицию:

Воин

Твой брат, серпуховскбй, преследовавший хана,
Ждет, государь, тебя со воинством у стана.

В. А. Озеров. Дмитрий Донской

Дорога называлась *серпуховскбй*:

Ратник

По дороге
Серпуховскбй маячные дымы
Виднеются!

А. К. Толстой. Царь Федор Иоаннович

Название дороги переходило в той же форме в название заставы, улицы. Можно думать, что традиционным было произношение *Серпуховскбйя улица*, *Серпуховскбйя застава* и т. д. По названию улицы названа и станция метро *Серпуховскбйя*.

Таким образом, название это не придумано, не привнесено откуда-то ошибочно, а отражает в своем произношении старую традицию.

В современном языке в отношении прилагательных от географических названий действует иная тенденция: соответствие по ударению слова, от которого прилагательное образовано. Это может быть связано с общим увеличением числа географических названий, включением в эту систему множества нерусских наименований, по отношению к которым старые закономерности не действуют.

В этих условиях и многие прилагательные с исконным ударением на *-скбй* его изменяют. Уже упоминались прилагательные *псковскбй* (*псковский*), *сумскбй* (*сумский*), *чухломскбй* (*чухломский*). Понятно, что более естественным представляется нам и ударение *серпуховский* (как *Серпухов*) или *серпуховскбй* — по типу прилагательных на *-бвский*: *днепрбвский*, *литбвский*, *москбвский* и под. Этим объясняется существование колебания в ударении прилагательного *серпуховской*, которое отмечено, в частности, и у поэтов, пишущих на исторические темы:

Полегли в бою серпуховские,
Да убиты князя белозерские...

В. Саянов. Слово о Мамаевом побоище

Князь великий, князь московский Дмитрий
С милым братом князем Серпуховским
Володимиром Андреевичем
На пиру гуляли у Микулы...

А. Скрипов. Стихотворное переложение повести «Задонщина»

В административных официальных наименованиях обычно принято ударение *сёрпуховский*. В «Словаре географических названий СССР» (М., 1983) дается: *Сёрпухов, Сёрпуховский район*. Вместе с тем вне официальных названий не забыто и бытует еще традиционное ударение *серпуховскóй*:

Мы мчались, мглу пересекая,
А мгла была серпуховскáя:
Взвесь угля, мрака и росы.

Ю. Ряшенцев. В вагоне дальнего следования

Что касается названия улиц Москвы, включающих прилагательное *серпуховской*, то произношение их тоже испытывает колебание. Помимо общей тенденции к перестройке здесь ударения сказывается и влияние произношения «сокращенного» варианта *Серпуховка*. Произношение *Серпуховская улица, Серпуховский вал* зафиксировано словарем-справочником Ф. Л. Агеенко «Ударения в названиях улиц Москвы и в географических названиях Московский области» (М., 1980).

Так в ударении одного прилагательного столкнулись традиции и новые акцентные тенденции. Это и определило различие в ударении прилагательного *серпуховской* в составе различных наименований. Принято: *Сёрпуховский район; Большая Серпуховская улица, Серпуховский вал улица; Серпуховскáя* (название станции Московского метро), *Серпуховскóй радиус метро*.

Такой разницей в ударении может казаться нелогичным, но с традицией нельзя не считаться. Искусственное вмешательство в нее в целях «выравнивания» ударения вряд ли будет полезным.

Из Нормативно-стилистического словаря русского языка

Память.

Основным вариантом управления существительного *память* в значении «воспоминание о ком-либо» является его сочетание с предлогом *о* (*об*) и предложным падежом зависимого слова: *память о минувшем, память о друге, память о родном крае*. Лишь ограниченный круг слов может принимать при этом существительную форму родительного падежа (обычно в художественных или публицистических текстах): «Память трудной години, Память боли во мне» (Твардовский. Москва).

Конструкция *память по кому-чему-либо* (*память по родной земле*) обладает разговорной окраской, поэтому ее не следует использовать в текстах книжного характера. Стилистически нейтральным является лишь фразеологический оборот *оставлять память по себе* (хотя здесь возможно и употребление *о себе*).

Вариантное управление имеет предложное сочетание *в память — в память чего-либо* и *в память о чем-либо*: *колонна в память битвы при Чесме; монумент в память о Бородинском сражении*. Однако одушевленные существительные выступают в данном обороте обычно только в форме предложного падежа с предлогом *о*: *хранить фотографию в память о родных*.

В том случае, когда существительное *память* употребляется с оттенком значения «воспоминания об умершем», оно управляет зависимым словом в родительном падеже без предлога: *читать память отца; увековечить память ученого; быть верным памяти погибших на войне; посвятить книгу памяти учителя*.

Но при предложном сочетании *в память* возможно употребление как словоформы родительного падежа без предлога, так и предложного падежа с предлогом *о* (*об*): *митинг в память солдат, минута молчания в память о погибших героях*.

Первенство.

Одно из значений этого существительного — «первое место в производственных или спортивных соревнованиях». Обычно оно употребляется в сочетании с глаголом *завоевать; завоевать пер-*

венство в социалистическом соревновании; завоевать командное первенство на чемпионате Европы и под.

В результате смешения (контаминации) литературных оборотов *завоевать первенство* и *одержать победу* возникло и порой встречается в устной и письменной речи ошибочное сочетание *одержать первенство* (*одержать первенство в соревновании отделов, одержать личное первенство* и т. д.). В литературной речи подобное словоупотребление недопустимо.

Первенством в результате метонимического переноса значения именуется также само «соревнование за первое место, состязание, по результатам которого присваивается звание чемпиона». В данном случае существительное *первенство* выступает как синоним слова *чемпионат*: *первенство мира по шахматам — чемпионат мира по шахматам; первенство города по футболу — чемпионат города по футболу*.

В этом значении существительное *первенство* сочетается с теми же словами и выступает в тех же конструкциях, что и *чемпионат*: *участвовать в первенстве (чемпионате); выиграть первенство (чемпионат); провести первенство (чемпионат)*.

Таким образом, в одной и той же ситуации (скажем, когда речь идет о победителях состязаний) может быть использован как оборот *завоевать первенство* (заять первое место), так и сочетание *выиграть первенство* (победить в чемпионате).

Письмо.

Это слово в значении «текст, направленный кому-либо с целью общения на расстоянии» имеет вариантное управление: *письмо кому-либо* и *письмо к кому-либо*.

Основным вариантом является беспредложная конструкция: *письмо отцу, письмо знакомым*. Предложное сочетание *письмо к кому-либо*, широко распространенное в XIX веке в литературной речи, встречается в наши дни значительно реже, в основном в таких построениях, где отсутствие предлога может привести к двоякому пониманию высказывания. Например: *носить с собой письмо к матери*; сочетание же *письмо матери* в этом случае может быть истолковано по-разному: 1) письмо, адресованное матери и 2) письмо, написанное матерью.

Если при существительном *письмо* употребляется наименование адресата (лица, написавшего письмо, отправителя), то здесь также возможно использование обеих конструкций: *письмо брата — письмо от брата*. В том случае, когда формы родительного и дательного падежей зависимого слова совпадают (*письмо матери, письмо дочери*), для понимания текста целесообразно использовать сочетание с предлогом *от*: *письмо от матери, от дочери*.

О метре и мэтре

Л. П. Калакуцкая,
доктор филологических наук



уществуют языковые факты, которые не подчиняются какому-либо правилу. Лишь длительное наблюдение за их «поведением» позволяет найти для них более четкую орфографическую рекомендацию.

Так, не подчиняется Правилам 1956 года слово *метр* (франц. *maître*) – *уст.* учитель,

наставник, почтительное название человека выдающихся дарований и знаний в области науки, искусства, литературы» (Словарь иностранных слов. М., 1983).

В современной практике печати это слово, вопреки рекомендациям § 9, п. 3 «Правил» и лингвистических словарей, встречается преимущественно в написании *мэтр*. Кроме иного орфографического облика, наблюдается еще одно противоречие: почти во всех словарях его сопровождает помета *уст.* (устарелое). Помимо уже названного Словаря иностранных слов, такая помета дается в «Словаре русского языка» в четырех томах и даже в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (хотя в однотомном Словаре логичнее было бы отсутствие устарелого для современного языка слова). Между тем слово достаточно часто встречается в современном литературном языке, о чем свидетельствует приводимый ниже материал.

Несоблюдение правила при написании слова *метр* в названном значении опирается на его иное произношение: «...одинаково пишущиеся слова *метр* – учитель, мастер, и *метр* – мера длины: первое произносится [мэтр], а второе [м'этр]...» (Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1972. С. 170). «Орфоэпический словарь русского языка» (М., 1983) дает: *метр*... Мера длины. Стихотворный размер; *метр*... [мэ]. Учитель, мастер. Произносительная помета [мэ] дается при данном значении слова – «учитель, наставник» – и в «Словаре ударений для работников радио и телевидения» (М., 1970 и 1984).

Группа слов со сходной фонетической ситуацией не столь уж многочисленна. Приведем ее в том виде, как она представлена в «Орфографическом словаре русского языка»: *метр, метраж, метранпаж, метрдотель, метресса, метрика, метрит, метрический, метро, метровый, метролог, метрологический, метрология, метромот, метроном, метрополитен, метрополитеновец, метрополия, метростроевец, метростроевский, метростроение*. Но к ней следует добавить многочисленные сложения со словом *-метр*: по Обратному словарю русского языка (М., 1974) таких сложений 115. Некоторые из них весьма употребительны: *километр, сантиметр, миллиметр, амперметр, гигрометр* и под.

Во всех этих словах *м* произносится смягченно. И лишь в одном случае не смягчается, — когда слово *метр* имеет значение «учитель, наставник». Такая орфоэпическая выделенность, противопоставленность, наряду с «высокостью» значения, и создает условия для иного оформления. Орфографическая интуиция образованных людей сопротивляется одинаковому написанию *метр* «мера длины» и *метр* «учитель, наставник»: эти разные по смыслу слова и произносятся по-разному.

Приведем некоторые примеры: «Наконец сам мэтр Фюмэ появляется в сопровождении почтительной свиты учеников. — Я знаю, мэтр. Он всегда называл его мэтром [президента], как ученики крупного хирурга или известного врача называют своего учителя» (Сименон Ж. Президент // Желтый пес и др. романы. 1960); «Ренуар был мэтром (вполне оправданный термин) каких-нибудь десять, даже меньше, лет назад» (Трауберг Л. Памяти Жана Ренуара // Экран. 60 лет советского кино. 1981); «Не случайно мы своих самых любимых учителей называли мэтрами... Мэтры, как принято было называть в институте...» (Воспоминания о Ю. Н. Тынянове. 1983); «В 1907–1909 гг. в Нью-Йорке вышло Собрание сочинений Генри Джеймса, составившее 24 тома. Но при всем том для большинства своих современников он был „писателем для писателей“, литературным мэтром...» (Джеймс Г. Женский портрет // Серия Лит. памятники. 1984); «Начинались репетиции. Собирались, главным образом, в квартире Святослава Теофиловича [Рихтера]. Репетировали по много часов подряд. Удивительной была атмосфера этих встреч! Ни тени менторства со стороны мэтра, ни тени скванности со стороны молодых!» (Д. Н. Журавлев. Жизнь. Искусство. Встречи. 1985); «— Мало людей, к которым можно обратиться со словом „мэтр“ без малейшего желания польстить, из уважения. Шагал, — вы один из таких людей» (Лит. газ. 1985. 16 окт.); «Иван Бунин (1870–1953). Один из лучших мастеров русской прозы... Лауреат Нобелевской премии — первый из русских писате-

лей. Он как будто родился мэтром» (Евтушенко Е. Антология русской поэзии // Огонек. 1987. № 2) и многие примеры из газетных и журнальных публикаций 1987 г. (см., например: Правда. 7 июля, 23 окт.; Известия. 24 авг.; Юность. № 9; Огонек. № 42).

Такое несоблюдение орфографической нормы для слова *метр* «учитель, паставник» весьма показательно. Ведь авторы, редакторы и корректоры разных изданий и издательств игнорировали единодушные рекомендации современных словарей, кроме 17-томного, который в свою лингвистическую задачу не включал орфографическую нормативность.

Следует обратить внимание, что слово *метр* имеет еще одно значение, не отмечаемое словарями, — обращение к адвокату и как бы звание адвоката. И в этом своем значении слово пишется только с *э* — *мэтр*: «Мэтр Русель! Вы меня не узнаете? — Согласитесь, мэтр, сделайте одолжение. — Вот видите, мэтр, вы не зря потратили вечер» (Спортивный детектив. 1982. С. 150, 152, 175, 178 и далее — по всей книге); «Мэтр Бонифас зашел потом ко мне; Мэтр Бонифас нарочно послал племянницу; Он наклонился к мэтру Габриэлю» (Сименон Ж. Свидетели. 1983); «Мой адвокат мэтр Форниоль... преподавал мне небольшой урок уголовного кодекса. Во время речи обвинителя мэтр Форниоль шептал мне...» (Сименон Ж. Господин с собачкой // Лит. газета. 1987. 19 авг.).

При таком орфографическом оформлении появляется возможность избавиться от нежелательных для любого языка омографов. Существенно также, что слова с разным значением и различающимся произношением получают соответствующее написание: в значении «единица длины» сохраняется *метр*, а «учитель, паставник» — пишется *мэтр*.

Разумеется, принимая данное решение, точнее, узаконивая написание, не один десяток лет существующее в орфографической практике, необходимо учитывать и написание однокоренных слов, в частности *метрдопель* и *метресса*. Означает ли принятие написания *мэтр*, что и слово *метрдопель* следует писать с *э*? Полагаем, что нет. Во-первых, и это весьма важное обстоятельство, слова *мэтр* и *метрдопель* разошлись по значению. Их принадлежность к одному корню можно доказывать лишь ссылкой на их этимологию — их связь во французском языке. Показательно, что в двухтомном «Словообразовательном словаре русского языка» А. Н. Тихонова (М., 1985) в гнезде слова *метр* со значением «наставник» приводится лишь слово *метресса* и не дается *метрдопель*. Во-вторых, слово *метрдопель* произносится со смягченным [м'], в отличие от несмягченного [м] в слове *мэтр* — «учитель, наставник». Соответственно, *мэтр* и *метрдопель* не связаны ни по значению,

ни по произношению, что позволяет сохранить орфографию слова *метрдопель*, тем более, что в современной орфографической практике это слово не имеет колебаний.

В этой связи помета в «Орфоэпическом словаре» — *дон.* [мэ] — в слове *метрдопель* представляется неоправданной; *м* в этом слове всегда произносился смягченно, что нашло свое отражение в словарях: «Русское литературное произношение и ударение» (М., 1959), в двух изданиях «Словаря ударений для работников радио и телевидения», в «Словаре трудностей русского языка» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой (М., 1984) и даже «Толковом словаре» под редакцией Д. Н. Ушакова, где оно приводится в написании *метр-д-опель*. Произнесение несмягченного *м* в слове *метрдопель* выглядит как манерное произношение и потому вряд ли может быть допустимым для литературного языка.

Что касается слова *метресса*, то оно едва ли может считаться актуальным для современного языка. Даже в XIX веке оно встречалось чрезвычайно редко: в 17-томном Словаре приводится лишь один пример из «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрин. Составители современных словарей это слово, скорее всего, сохраняют по лексикографической традиции, заимствуя его из Толкового словаря под редакцией Д. Н. Ушакова. Вполне оправданно слово отсутствует в «Словаре русского языка» (в четырех томах) и в «Словаре иностранных слов», но вряд ли его присутствие уместно в «Орфоэпическом словаре».

Итак, наблюдение за одним конкретным участком орфографической практики позволяет сделать некоторые выводы: 1) логично сохранить за словом *метр* со значением «учитель, наставник» написание *метр*, отвечающее его произношению; 2) целесообразно в словарях снять у этого слова помету *устарелое*, как не соответствующую его реальному употреблению.

При этом показательно, что слово *метр* «учитель, наставник» синонимично слову *Мастер*, которое в том же значении пишется с прописной (большой) буквы: «Знаете ли вы, что в центре города Еревана установлен памятник... сапожнику? Да не простому, а варпету. Мастеру с большой буквы» (Сов. экран. 1986. № 10).

На современном этапе развития письменного литературного языка орфографическая практика диктует свои условия, подправляя и исправляя неудачные и нелогичные правила. Ученые, занимающиеся орфографией, должны наблюдать и анализировать эту практику, а Орфографический словарь живет откликаться на происшедшие изменения.

Рисунок В. Леонова

История «твердого знака»

А. А. Соколянский,
кандидат филологических наук



В этой статье будет рассказано о букве ѣ, которую принято называть «твердым знаком» или «ер». Жизнь ее началась с возникновения славянского кириллического алфавита (IX в.). Первоначально она обозначала особый гласный звук, произносившийся, к примеру, в таких словах, как *мѣного*, *сѣнь* (современные *много*, *сон*), и ничем не отличалась от других букв, обозначающих гласные звуки. Наряду со звуком [ъ] (речь сейчас идет именно о звуке!) в славянских языках имелся [ь], составлявший с ним пару; он произносился в таких словах, как *дѣнь*, *лѣнь* (современные *день*, *лень*).

Буква ѣ указывала и на качество предшествующего согласного: в слове *дѣно* она сообщала о твердости [д] (произносилось [дѣно́]) и этим отличалась, к примеру, от буквы ъ, которая указывала на мягкость предшествующего согласного: *дѣня́* (род. пад.). В словах типа *обѣаль* она указывала на то, что *я* обозначает два звука: произносилось [обѣя́аль]. Как видим, буква ѣ выполняла все три названные функции букв, обозначающих гласные звуки. Таким образом, древнерусские написания *мѣного*, *сѣнь*, *сѣна*, *обѣаль*, *сѣскаль* передавали произношение того времени: [мѣно́го], [сѣнь], [сѣна́], [обѣя́аль], [сѣска́ль].

Однако в древнерусском языке второй половины XII века звуки [ъ] и [ь] начали исчезать. В некоторых случаях они пропали совсем, а в других — совпали соответственно со звуками [о] и [э]. Как результат исчезновения редуцированных имеем в русском языке «беглые» гласные. Именительный и родительный падежи единственного числа слов *сон* и *пень* до XII века выглядели так: *сѣнь* — *сѣна*, *пѣнь* — *пѣня*. В словах *сѣнь* и *пѣнь* конечные редуцированные, которые утрачивались, поддерживали гласные предшествующего слога, и те не исчезали, а переходили в звуки [о] и [э]: [сѣнь] — [сон], [пѣнь] — [пѣн']. В формах же *сѣна* и *пѣня* условия были иные, поэтому корневые гласные, не поддерживаемые

со стороны утрачивающихся конечных редуцированных, исчезали: [съна] – [сна], [п'ьн'а] – [п'н'а].

В результате этих преобразований изменилось правописание и произношение многих слов. Стали писать *много* (вместо *мъного*), *сонъ* (вместо *сънъ*), *сна* (вместо *съна*), *объялъ*, *съискалъ*, а произносить [мнóго], [сон], [сна], [об'ял], [сыскáл]. Как видим, произношение слов приблизилось к современному, а правописание в большой степени отражало предшествующее состояние языка.

Утратив свою главную функцию – обозначать особый гласный звук, буква *ъ* сохранила за собой две обязанности: 1) указывать на твердость предшествующего согласного – *сонъ*; 2) показывать, как следует читать последующие йотированные – *объяла*.

Кроме этих двух функций, буква *ъ* неожиданно получила еще одну «обязанность». Дело в том, что после исчезновения звука, который буква *ъ* обозначала, получилось так, что она стала употребляться почти исключительно на конце слова. А нам известно, что в течение длительного времени на Руси писали без разбивки на отдельные слова, слитно. Прочитайте предложение: *Онвошелвдом*. Не правда ли, в такой записи обычная фраза воспринимается с трудом. Нам не хватает пробела между словами. А теперь запишем эту фразу иначе: *Онъвошелъвъдомъ*. Конечно, и этот вариант с нашей точки зрения страдает недостатками, но все-таки, по сравнению с записью без *ъ*, его читать легче, так как *ъ* в какой-то мере компенсирует отсутствие привычного для нас пробела между словами.

Безусловно, *ъ* не мог целиком заменить пробел, потому что в русском языке слова могут оканчиваться и на гласный звук. В предложении *Онавышланаулицу* границу между словами этим способом нельзя было отметить. С возникновением книгопечатания на Руси (XVI век) постепенно утверждается раздельное написание слов, и буква *ъ* на конце слова превращается только в показатель твердости конечного согласного. В этой роли *ъ* употреблялся на конце слова вплоть до реформы орфографии 1917–1918 годов. Но уже задолго до этой реформы ученые и просто наблюдательные люди видели ненужность *ъ* на конце слова. В. Е. Адодуров, создатель первой русской грамматики на родном языке (1740), писал в ней: «Ъ не изъявляет никакого человеческого голоса и для того в произношении слов ничего не способствует; сие подает праведную причину почитать сей знак в нашей азбуке за излишний» (цит. по кн.: Успенский Б. А. Первая русская грамматика на родном языке. М., 1975). Действительно, нет никакой необходимости обозначать отдельно и твердость и мягкость (*слонъ* и *конъ*), а достаточно отметить что-то одно (*слон* и *конь*). Такой системой

обозначения твердости и мягкости конечных согласных, введенной сразу после Октябрьской революции, мы пользуемся сегодня.

Но кроме конца слова буква *ъ* употреблялась в середине слова на стыке приставки, кончающейся на согласный, и корня, начинающегося с гласной: *съузить*, *съиграть*, *съежиться*. В этих словах назначение твердого знака было различным. В слове *съузить* он ничего не обозначал и употреблялся здесь только по традиции. В написании *съиграть* буква *ъ* сообщала о том, что начальный согласный в этом слове следует читать твердо, то есть [сыгра́т']. Я. К. Грот рекомендовал этот способ написания к широкому употреблению. Стали писать: *сыграть*, *сузить* (см.: Грот Я. К. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне. СПб., 1873).

В современной русской орфографии твердый знак сохранил за собой только одну обязанность — обозначать чтение последующих *е, ё, ю, я*. И в этой роли *ъ* похож на гласную букву (не звук!). Сопоставим слова *уехать* и *отъехать*. Каким образом мы узнаем, что в слове *уехать* букву *е* надо читать как [йе]? Об этом нам сообщает положение ее после буквы *у*. Эту же информацию несет и *ъ*.

Может возникнуть вопрос: не обозначает ли *ъ* в словах типа *отъехать* твердости предшествующего согласного? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним произношение слов *въехал* и *вьюга*. В современной речи возможны два варианта произношения этих слов: [в'йэ]хал — [вйэ]хал и [в'йу]га — [вйу]га. Исследования показывают, что в настоящее время среди носителей русского литературного языка имеет достаточное распространение такое соотношение в произношении этих вариантов: говорят [в'йу]га, но [вйэ]хал. Кажется, что такое произношение свидетельствует в пользу того, что твердый знак как показатель твердости необходим в этих словах. Но не будем торопиться с выводами.

Сравним произношение таких пар слов: *дверь* — *подвесил*, *снег* — *снести*. Первые слова в приведенных парах чаще произносятся с мягким согласным, то есть в речи значительного числа говорящих встречаются: [д'в']ерь, но по[дв']есил; [с'н']ег, но [сн']ести. Почему же эти пары слов произносятся различно? Дело в том, что в словах *подвесил*, *снести* между интересующими нас сочетаниями согласных проходит граница, отделяющая приставку от корня под-весил, с-нести. В словах же *дверь*, *снег*, *ревмя* и эти сочетания находятся внутри корня. Из этого сопоставления можно сделать вывод, что согласный на стыке приставки и корня перед мягким согласным чаще произносится твердо, чем в таком же сочетании согласных, но внутри корня. Произношение слов *въехал*

и *вьюга* подчиняется той же закономерности: на стыке приставки и корня чаще встречается твердое произношение: [в'йэ]хал, так как *в* — *ехал*, а внутри корня — мягкое: [в'йу]га. Примечательно, что тогда, когда твердый знак употребляется внутри корня, чаще следует ожидать мягкое произношение: *ад'ьютант* произносят а[д'йу]тант.

Таким образом, произношение твердого согласного перед звуком [й] связано не с употреблением твердого знака в этих словах, а с тем, что между согласными и [й] проходит граница между приставкой и корнем.

Если это так, то употребление *ъ* не оправдывается в нашей орфографии, и его можно было бы упразднить. Действительно, попытки полностью изгнать *ъ* из русской азбуки были. В проекте реформы орфографии 1904 года предлагалось: «Для разделения согласной от следующих гласных *я, е(ё), ю* предлагается вместо *ъ* писать *ь*: *обьясню, объем, въеду...*» (Чернышев В. И. Избранные труды. М., 1970. Т. 2. С. 598). Но уже в проекте 1912 года предлагалось сохранить *ъ* в качестве разделительного знака. В этом виде предложение и было реализовано в 1917–1918 годах.

Почему же те, кто руководил работой орфографической комиссии (а это были выдающиеся ученые-лингвисты академики Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов), отказались от своего первоначального намерения? Можно предположить, что причины были такими: для старой московской нормы сочетания «согласный+[й]» всегда произносились мягко: [в'йэ]хал, о[б'йа]л, [с'йэ]л и т. п. Разъясняя царскому чиновнику А. А. Кирееву, активно выступавшему против реформы орфографии, обоснованность замены твердого знака на мягкий в таких сочетаниях, А. А. Шахматов приводил примеры таких написаний из прижизненных изданий А. С. Пушкина: «И к мудрому старцу *подъехал* Олег». Предлагая писать в этих случаях *ь* вместо *ъ*, Шахматов и Фортунатов опирались на старую норму, которой, безусловно, сами владели. Но в начале нашего века стала складываться иная ситуация, в своих основных чертах она сохраняется и в настоящее время: на стыке приставки и корня и внутри корня утверждаются различные законы сочетания согласных. Возникла иллюзия, что именно правописание твердого знака предопределяло произношение твердых согласных в словах типа *въехал*. Уступкой этому представлению горящих и явилось сохранение написания *ъ*. Помимо этого следует принять во внимание и имеющийся разнобой в произношении сочетаний согласных, который обусловлен возрастом, образованием, местом жительства носителей литературного языка.

Вопрос об исключении *ъ* вновь был поставлен в проекте ре-

формы орфографии 1964 года. Это свидетельствует в пользу того, что предложение 1904 года было принципиально верным. Специальные исследования ученых-языковедов показали, что произношение изменяется не под влиянием правописания, а по своим собственным внутренним законам развития. Процесс отвердения согласных в настоящее время затрагивает не только сочетания на стыке приставки и корня, но и другие случаи: так, стали произносить все чаще [вйу]га, воро[бйа] и т. п. Отсюда и такие ошибки в работах современных школьников: *бъем, скърбъю* и др. Все это еще раз подтверждает, что орфография не всегда может повлиять на произношение. Будет ли написано *объявление* или *обьявление, бью* или *бъю*, пишущие будут говорить эти слова так, как они привыкли их произносить. Следовательно, есть все основания считать букву ъ лишней для нашей орфографии, ее вполне можно заменить на ъ, значительно упростив тем самым правописание.

Такова история употребления буквы ъ. Созданная когда-то для обозначения особого гласного звука и ни в чем не уступавшая другим буквам, обозначавшим гласные звуки, она постепенно утрачивала свои функции.

Магадан

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Почему говорится „реформа общеобразовательной и профессиональной школы“, ведь школ много. Почему же слово употребляется в единственном числе?»

З. Костылева, пос. Мухтолово, Горьковской обл.

В словосочетании «реформа общеобразовательной и профессиональной школы» слово *школа* употребляется в собирательном значении, обозначая понятие «система образования», а не «учреждение, осуществляющее образование». Поэтому и число — единственное.

Ф. И. Буслаев — ученый и педагог

С. В. Смирнов,
доктор филологических наук



Федор Иванович Буслаев родился 13 (25) апреля 1818 года в Керенске (ныне с. Вадинск) Пензенской области. Десяти лет он поступил в гимназию. Его первым учителем русского языка был В. Г. Белинский, который из-за недостатка средств не мог отправиться в Московский университет и, оставаясь в Пензе в звании ученика гимназии, занял вакантную должность учителя. Буслаев потом вспоминал: «Он много нам диктовал и заставлял нас учить стихи, из коих как сейчас помню: «О дети, дети! Как опасны ваши лета» и «О,

ты, пространством бесконечный!»... В Пензенской гимназии под руководством Белинского и Евтропова я впервые узнал и полюбил русскую словесность, которой потом посвятил всю свою жизнь в литературных трудах и в лекциях с кафедры Московского университета» (Д. Языков. Федор Иванович Буслаев// Русский вестник. 1897. № 9). В 1834–1838 годах Буслаев учился на словесном отделении Московского университета. После окончания университета со званием кандидата преподавал в московских гимназиях и частных домах. Вместе с семьей графа С. Г. Строганова провел два года (1839–1841) в Германии и Италии. С 1847 года Буслаев преподавал в Московском университете (сначала в должности адъюнкта, затем профессора) и проработал там более 30 лет. В 1860 году ученый был избран академиком по Отделению русского языка и словесности АН (подробнее о жизненном и творческом пути Ф. И. Буслаева см.: Русская речь. 1968. № 6; 1975. № 1; 1976. № 5).

Ф. И. Буслаев обладал обширными и глубокими знания-

ми. Он никогда не замыкался в свое «профессорское достоинство». Все, что волновало молодежь, было близко его сердцу. Он учил ее критически относиться к авторитетам, обращаться непосредственно к первоисточникам и на них проверять научные выводы.

Мощным орудием в борьбе со злом, невежеством, пошлостью Буслаев считал науку. В дневнике от 25 ноября 1848 года он записал: «Человек, посвятивший себя науке, вооружен крепким оружием против мелочей и тревожений жизни. Идея его науки — его единственная цель, его дума, его стремление. Что бы ни случилось во внешних обстоятельствах, пока крепка его вера в науку, он тверд в своих мыслях и действиях» (ЦГАЛИ, фонд 69, опись 1).

Основную задачу гуманитарных наук Буслаев видел в изучении живого человека, которое должно воспитывать в русском обществе уважение и любовь к народу, основанные не на мечтательном прекраснодушии, а на непосредственном знакомстве с его прошлым и настоящим, с художественными и нравственными идеалами.

Лекции ученого всегда вызвали живейший интерес аудитории. Появление на кафедре любимого профессора встречалось аплодисментами. Особенно подкупало то, что он читал без каких-либо записей, любил шутку и остроты. Один из его

учеников писал: «Что меня более всего поразило, так это то обстоятельство, что способ чтения Буслаева не походил на чтение других красноречивых профессоров. Там было искусство, здесь естественность, там декламация, здесь как бы простой пересказ, там отделка фразы, здесь как бы шероховатости, недомолвки, отсутствие работы над конструкцией речи. И в то же время умнее задеть за живое слушателей, приковать их внимание к предмету лекции, не дать им возможности скучать и утомляться. О великих артистах часто употребляется выражение: они живут на сцене. Вполне справедливо о Ф. И. можно сказать: он жил на кафедре» (Танков А. Воспоминания о Ф. И. Буслаеве. — Исторический вестник. 1897, сентябрь).

Буслаев жил только для науки. В его творческом наследии 40–50-х годов ведущее место занимают труды по методике преподавания русского языка и истории русского языка. В книге «О преподавании отечественного языка» (1844) впервые в истории русской педагогики была представлена научно обоснованная методическая система, утвердившая принцип сознательного усвоения материала, тесную связь теории и практики, учет возрастных особенностей детей.

Учебники русского языка того времени были весьма неоднородны как по содержанию,

так и методическому построению. Поэтому необходимо было прежде всего определить, что является целью изучения родного языка в школе. Чтобы решить этот вопрос, Буслаев в обучении языку выделил два этапа. На первом этапе грамматика является лишь прибавлением к чтению, письму и упражнениям. Задача ее сводится к тому, чтобы научить безошибочному употреблению языка. На втором этапе грамматика выступает уже как наука. Опираясь на сравнительно-исторический метод, она показывает законы развития языка и объясняет употребление грамматических форм. Далее ученый рассмотрел отдельные разделы курса и дал образцы разбора художественных текстов. В этой же книге он одним из первых применил сравнительно-исторический метод к объяснению русских звуков и форм, введя тем самым русский язык в круг индоевропейского языкознания, а также показал важное значение народного языка, областных говоров, языка фольклора, отметил связь истории языка и истории народа. Анализируя различные лексические пласты, ученый рассуждал о воинском, религиозном, семейном быте наших предков, об их мифологии и народной поэзии.

В магистерской диссертации «О влиянии христианства на славянский язык» (1848) Ф. И. Буслаев, сравнивая сла-

вянский язык XI века с готским переводом библии, восстановил материальный и юридический быт, культуру и верования славян и готов в доисторическую эпоху, а отчасти показал и более отдаленные времена — период индоевропейского единства. Уже сам выбор темы диссертации говорит о широком научном кругозоре автора, который удачно соединил в себе талант филолога и историка культуры.

Продолжая заниматься изучением древних памятников, Ф. И. Буслаев стал одним из лучших знатоков истории русского языка. В 1852 году он был приглашен в комиссию, обсуждавшую реформу преподавания русского языка и словесности в военно-учебных заведениях. Ему было поручено составление двух руководств для учителей — грамматики и хрестоматии.

Первое пособие «Опыт исторической грамматики русского языка» вышло в 1858 году. Позднее оно неоднократно переиздавалось под названием «Историческая грамматика русского языка». Книга появилась в тот период, когда традиционная описательная грамматика с ее правилами и исключениями, выведенными на основе наблюдений над языком писателей, начинает переживать кризис. Создание сравнительно-исторического метода, первые серьезные успехи и надежды, связан-

ные с его применением, все чаще приводят ученых к мысли, что это единственный способ научного подхода к языку. Новое языкознание оказывает влияние и на понимание объема и характера школьного курса, содержание учебников и учебных пособий. Все чаще звучит требование изучать русский язык в связи со старославянским, вводить исторические экскурсы и через них раскрывать развитие фонетического и грамматического строя, показывать неразрывную связь истории языка и истории народа. Предполагалось, что это может способствовать сознательному употреблению форм русского языка, а также поставить на научные основы практическую грамматику.

Исторические объяснения языковых явлений встречались и раньше, но Буслаев впервые применил их ко всем сторонам языковой системы. В качестве фактического материала он привлек старославянский язык, древнерусский, современные диалекты, язык художественной литературы, другие родственные языки. Все это помогло ему внести значительный вклад в историческое изучение русского языка.

Считая древнейший период наиболее интересным, Ф. И. Буслаев тем не менее в «Исторической грамматике» отвел важное место разработке проблем современного русского языка.

Он полагал, что язык как средство выражения мысли подчиняется, с одной стороны, законам логики, а с другой — законам самого выражения, которые он называл внутренними законами развития языка. Поэтому ученый стремился объединить основные принципы построения предыдущих описательных грамматик и подвести под них историческую основу. Таким образом, в книге постоянно переплетаются, взаимно дополняя или противореча друг другу, два начала: логическое и формально-грамматическое (в единстве с историческим). Тем самым «Историческая грамматика» не только обобщила достижения предшествующих грамматик русского языка, показала недостатки их теоретической базы и противоречия, но в то же время наметила и пути их преодоления, дала толчок синтаксическим исследованиям А. А. Потебни, которые составили следующий этап в истории русской грамматической мысли.

В русском языкознании XIX века большое место занимает издание и изучение письменных памятников, разбросанных по разным книгохранилищам. В 1855 году Буслаев опубликовал «Палеографические и филологические материалы для истории письмен славянских, собранные из XV-ти рукописей Московской синодальной библиотеки. С приложением двад-

цати двух снимков». В работе дано палеографическое, грамматическое и лексическое описание ряда рукописей XI—XVI веков и извлечено много данных для характеристик звуков и форм русского языка в разные периоды его истории. В книге Ф. И. Буслаева «Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языка» (1861) представлены образцы всех наиболее известных памятников древней письменности. В хрестоматию вошло целиком или в отрывках 135 произведений XI—XVII вв., из которых 69 были опубликованы по рукописям. Все это значительно расширило рамки допетровской литературы. Историко-литературные и лингвистические примечания, сопровождающие тексты, составляют, по замечанию автора, «как бы историю языка и письменности в практическом изложении».

С конца 50-х годов главным увлечением Ф. И. Буслаева становится история литературы и фольклор. Он писал подробные конспекты лекций, дополняя их новыми и новыми материалами. Часть этих лекций печаталась в виде статей в разных периодических изданиях, а в 1861 году они вышли в двух томах под заглавием «Исторические очерки русской народной словесности и искусства». Статьи, вышедшие позднее, составили сборник «Народная поэзия. Исторические очерки» (1887).

Буслаев, давая периодизацию истории русской литературы, полагал, что одним из основных процессов ее развития является сближение с европейской литературой и просвещением. Этим, по его мнению, объясняется подражательный характер поэзии Жуковского и Батюшкова. Только Пушкин и затем Гоголь вернули ее к старине и народности. Основную же задачу писателя Ф. И. Буслаев видел в том, что он должен воспроизводить действительность, «служить наиболее полным и точным выражением духа времени и общественной совести», «вести далее просветительное дело, завещанное ему великими литературными умами прошедшего», но при этом «устраняя из действительности все мелкое, ничтожное, недостойное человека» (Мои досуги. Т. 2).

Буслаев был виднейшим представителем русской мифологической школы, к которой относятся А. Н. Афанасьев, А. А. Котляревский, П. Н. Рыбников. Народная поэзия рассматривается им в единстве с древнерусской литературой и искусством как разные формы проявления народности. В языке и мифологии он хотел найти зарожждение и развитие тех начал, которые определяют народное мировоззрение. Отсюда отличительная черта его работ — внесение нравственного принципа в изучение народа и народ-

ного творчества. Он умело вскрывал художественные достоинства народной поэзии, но отдавал дань идеализации древнерусской жизни и быта.

В 1863—1864, 1870 и 1874 годах Буслаев совершил путешествия за границу (Чехия, Германия, Италия, Франция, Швейцария) для изучения истории искусства. Опубликовал много исследований и заметок по истории русской и западноевропейской живописи, иконографии, миниатюры, орнамента. Книга «Русский лицевой апокалипсис. Свод изображений из лицевых апокалипсисов по русским рукописям с XVI века по XIX» (1884) принесла ему мировую славу. Анализируя русские художественные памятники, Буслаев ставил их в связь с произведениями литературы и фольклора, памятниками византийского и западноевропейского искусства, указывал источники иконописного предания, создал

иконографический метод. В древнерусском искусстве он находит те же черты, что и в народной поэзии.

В 1881 году Буслаев вышел в отставку. С 1886 года у него начало резко ухудшаться зрение и вскоре настолько ослабло, что ему было запрещено читать. По совету друзей Ф. И. Буслаев начал диктовать свои воспоминания и с увлечением занимался этим до 1896 года (Мои воспоминания. М., 1897). 31 июля (12 августа) 1897 года он скончался и похоронен в Москве, на территории Новодевичьего монастыря. Один из крупнейших русских ученых, в течение нескольких десятилетий стоявший в центре филологической науки, Ф. И. Буслаев является основателем своих школ в языкознании, фольклористике, литературоведении, истории искусства.

Тарту

История языка — история народа

К 100-ЛЕТИЮ С. П. ОБНОРСКОГО

Н. Н. Полякова,
кандидат филологических наук



26 июня 1988 года научная общественность нашей страны отметит 100-летие со дня рождения выдающегося советского ученого-языковеда, педагога и общественного деятеля Сергея Петровича Обнорского (1888–1962), оставившего заметный след в развитии русской филологической науки.

Поступив в 1905 году на историко-филологический факультет Петербургского университета, С. П. Обнорский учился у таких крупнейших ученых, как И. А. Бодуэн де Куртене, А. И. Соболевский, П. А. Лав-

ров, А. А. Шахматов. После окончания университета, по рекомендации А. А. Шахматова, молодой ученый был оставлен при кафедре русского языка для подготовки к профессорскому званию. С 1915 года С. П. Обнорский преподавал в Петербургском университете, затем был профессором кафедры русского языка Пермского университета; с 1922 по 1941 год он заведовал кафедрой русского языка Петроградского – Ленинградского университета. В 1931 году С. П. Обнорский был избран членом-корреспондентом, а в 1939-м – действительным членом АН СССР. По инициативе ученого в 1944 году в Москве был открыт Институт русского языка АН СССР, директором которого он стал. В 1947 году за труд «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» С. П. Обнорский был удостоен Государственной премии. За активное участие в составлении 17-томного «Словаря современного русского литературного языка» в числе других ученых С. П. Обнорскому присуждена (посмертно) Лени-

ская премия за 1970 год (более подробно о жизненном и творческом пути ученого см.: Русская речь. 1967. № 5; 1978. № 3).

Начальный период научной деятельности ученого, несомненно, протекал под влиянием лингвистических идей А. А. Шахматова, задач, которые тот ставил перед русской наукой. «Преимущественное внимание А. А. Шахматова к разработке истории русского языка, — подчеркивал С. П. Обнорский, — не может не приобретать для нас характера поучительности, подчеркивая и в наших глазах особую важность разработки именно истории языка... Именно в истории русского языка, достаточно полно и глубоко разработанной, должны содержаться ключи к современному познанию русского языка, притом не только в прошлых стадиях языка, но и в современном его состоянии. Для нашего времени это само собой понятно. Задачей нашего времени поэтому должно остаться то же не ослабевающее внимание к разработке частных и более общих проблем, относящихся к историческому развитию русского языка, и в конечном итоге совершеннейшее, возможно углубленное и детализованное, построение общей истории языка» (Обнорский С. П. Академик А. А. Шахматов — историк русского языка // Известия АН СССР. Отд. лит-ры и языка. 1946. Вып. 2).

Решая выдвинутую Шахматовым задачу построения общей истории языка в связи с историей народа, С. П. Обнорский первоначально следовал намеченному его учителем плану и приступил к исследованиям непосредственных источников для истории языка. Его первый научный труд — студенческая семинарская работа, написанная в 1909 году под руководством А. А. Шахматова, — «Исследование о языке Миней за поябрь 1097 г.». Этот памятник древнейшего периода русской письменности был рассмотрен преимущественно с историко-фонетической и историко-морфологической точек зрения; начинающий исследователь обнаружил прекрасное знание старославянских памятников, тщательность лингвистического анализа. Позже появились работы С. П. Обнорского, написанные также в русле шахматовской школы, в которых автор отработывал методику исследования языка древних памятников.

Однако уже в ранний период научной деятельности С. П. Обнорского проявляются его собственные, оригинальные воззрения на историю русского языка, глубокая убежденность в самобытности русской языковой культуры, в отсутствии ярко выраженных и глубоких воздействий чужих языков на русскую речь. Не соответствовала шахматовской точке зрения и концепция С. П. Обнор-

ского о влиятельности и большом значении северной произносительной нормы в истории русского литературного языка XVIII–XIX веков. Довольно быстро определилась и центральная область его личных научно-лингвистических интересов – история форм русского языка и русского исторического словообразования.

Задача построения исторической морфологии русского языка была теоретически разработана в двухтомном труде «Именное склонение в современном русском литературном языке» (вып. 1 – Единственное число. 1927; вып. 2 – Множественное число. 1931). Эта работа сыграла большую роль в истории русского языкознания. В ней описаны основные процессы изменения всех типов склонения и падежных форм русского языка в их относительной последовательности и диалектных вариациях. Академик В. В. Виноградов определил это капитальное исследование как «первую в истории науки о русском языке попытку установить исторические закономерности в изменениях морфологической системы русского языка» (Известия АН СССР. ОЛЯ. 1958. Вып. 3). Книга С. П. Обнорского послужила толчком для появления целого ряда работ отечественных и зарубежных исследователей по истории именного склонения. В 1953 году вышла в свет вторая моногра-

фия С. П. Обнорского о русской морфологии – «Очерки по морфологии русского глагола», в которой по тому же принципу, что и в «Именном склонении», исследовались варианты форм русского глагола и границы диалектного распространения некоторых из них.

Русская наука о языке обязана С. П. Обнорскому появлением новой гипотезы о происхождении и природе русского литературного языка. Эта проблема волновала не одно поколение ученых, занимающихся историей русского языка. Согласно наиболее распространенной еще в дореволюционное время теории, разработанной А. А. Шахматовым и поддержанной большинством лингвистов, русский литературный язык, по происхождению своему древнеболгарский, подвергался на Руси обрусению, сначала на юге в Киеве, потом на северо-востоке в Москве. При этом в язык постоянно проникали живые народные элементы, и благодаря этому он сближался с «наречием города Москвы». В основном эта концепция принималась С. П. Обнорским, и до начала 30-х годов его исследования опирались на шахматовскую теорию о старославянском происхождении русского литературного языка. Около середины 30-х годов мысль о самобытности русской культуры, подкрепленная тщательным

изучением оригинальных русских памятников старейшей поры, заставляет ученого кардинально изменить свои представления о составе и характере русского литературного языка в эпоху его формирования.

В 1934 году появилась статья «Русская Правда как памятник русского литературного языка», в которой С. П. Обнорский на основе изучения языка пространной редакции «Русской Правды» по Синодальному списку 1282 года поставил перед собой задачу восстановить лингвистический облик оригинала. На основе анализа памятника ученый выдвигает идею об исконном русском происхождении русского литературного языка. Идея требовала подтверждения. С этой целью ученый анализировал язык древнейших русских памятников нецерковного жанра: Русскую Правду (в краткой редакции), Сочинения Владимира Мономаха, Моление Даниила Заточника, Слово о полку Игореве.

Результатом этих исследований явилась книга «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» (М.—Л., 1946), в которой автор утверждает, что основной и главнейшей чертой древнерусского языка «является общий русский его облик, дающий себя знать во всех сторонах языка (и в звуковой стороне и в морфологии, а особенно в

синтаксисе и лексике)». Смысл суждений С. П. Обнорского сводится к тому, что всесторонний анализ памятников древнерусской письменности неизменно приводит к тому, что основа, природа их языка — восточнославянская, хотя внешне они могут выглядеть написанными на языке церковных книг. Ученый считает необходимым исследовать в равной мере как русизмы в церковнославянских текстах, так и церковнославянизмы в русских текстах. «Это исследование,— читаем в Предисловии,— должно показать объективную мерку церковнославянизмов в нашем языке, ибо представление о них у нас преувеличено. Многие церковнославянизмы, свидетельствуемые теми или иными памятниками письменности, имели значение условных, изолированных фактов языка, в систему его не входили, а в дальнейшем вовсе выпадали из него, и сравнительно немногие слои их прочно вошли в обиход нашего литературного языка».

Новая гипотеза нуждалась в более широком обосновании и дальнейшей проверке, но бесспорно и то, что с односторонностью и схематической прямолинейностью господствовавших до того времени представлений о церковнославянской основе русского литературного языка в науке было покопчено навсегда. Исследования С. П. Обнорского в этой области при-

влекли внимание ученых к тем памятникам, которые по языку стоят ближе к народно-разговорной речи. Его концепция о восточнославянской народной основе русского литературного языка вызвала острую дискуссию, в результате которой стала возможной постановка еще одной важной проблемы славистики — проблемы двуязычия в древней Руси. Сильной стороной гипотезы Обнорского является показ восточнославянской основы литературного языка в тех случаях, когда этот язык обслуживал нецерковную сферу жизни древнерусского народа; ее слабая сторона заключается в отсутствии развернутой картины межъязыкового взаимодействия, приведшего к обогащению системы литературного языка.

Нельзя не отметить заслуги С. П. Обнорского как лексикографа. С его именем связаны почти все выдающиеся начинания в русской советской лексикографии. В течение 25 лет, начиная с 1912 года, он принимал активное участие в работе над академическим «Словарем русского языка» под редакцией А. А. Шахматова, стремясь приблизить Словарь к потребностям и задачам нашей современности. Им была составлена и издана в 1936 году глубоко продуманная Инструкция для редакторов, обобщающая опыт создания этого Словаря. Инст-

рукция была положена в основу последующих изданий академических словарей. С. П. Обнорский являлся членом редколлегии 17-томного академического «Словаря современного русского литературного языка», редактировал четырехтомный академический «Словарь русского языка», был главным редактором составленного С. И. Ожеговым однотомного «Словаря русского языка».

Под руководством С. П. Обнорского составлен Орфографический словарь с дополнениями и предписаниями орфоэпического характера, легший в основу вышедшего Институтом языкознания в 1956 году «Орфографического словаря русского языка» под редакцией С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро. Кроме того, в том же году при ближайшем участии С. П. Обнорского был создан свод «Правил русской орфографии и пунктуации», играющий положительную роль в деле упорядочения, нормализации русского правописания вплоть до настоящего времени. В статье «Правильности и неправильности современного русского литературного языка», опубликованной в «Известиях АН СССР. Отд. лит-ры и языка» в 1944 году, С. П. Обнорский в понятии об орфоэпии не ограничивается одной произносительной стороной, а включает в него нормы литературного использования в речи форм (склоняемых, спрягаемых) и нормы

синтаксического построения речи. Ученый указывает на необходимость устранения орфоэпического разнобоя и нормализацию произношения во всех случаях, где это возможно.

Творческий путь С. П. Обнорского (при всем его разнообразии) подчинен одной проблеме — проблеме формирования и дальнейшего развития русского литературного языка. Решению этой задачи способствовали его исследования языка древнейших памятников, произведений рус-

ской классической литературы XVIII—XIX веков, а также диалектные, фонетические, морфологические, лексические разыскания. С этой целью он занимался вопросами нормализации русского литературного языка, культуры русской речи. Научное наследие С. П. Обнорского — значительно и плодотворно, оно обогатило русскую советскую науку о языке, дало мощный толчок ее дальнейшему развитию.

Помещаем главу из брошюры «Культура русского языка» С. П. Обнорского, вышедшей в 1948 году (см. также: Обнорский С. П. Избранные труды по русскому языку. М., 1960).

Если обратиться к характеристике современного русского литературного языка, взяв его на широком фоне как язык всего революционного периода, следует отметить громадные происшедшие в нем сдвиги. И это само по себе естественно: в нашей общественной структуре, в мировоззрении, в жизненном укладе произошел резкий перелом, что не могло не отразиться столь же резко на языке. Можно было бы с помощью лингвистического спектра констатировать изменения, происшедшие и в фонетической, и в морфологической области, и в синтаксисе. Особенно же значительные и всеми ощутимые изменения произошли в лексической и семантической стороне языка. Действительно, в связи с новыми общественными условиями, в связи с ростом новой государственности одни слои лексики, отвечавшие определенным понятиям прежнего общественного уклада, совсем исчезли, иные сохранились, но были переосмыслены. Наконец, заново сложились громадные слои новой лексики. Быстрый рост новой государственности, мощный общий культурный рост, широчайшие сдвиги в области наук и многообразных отраслей техники, в частности, связанные с индустриализацией страны, — все это может дать представление о громадном лексическом обогащении нашего языка. Наконец, следует отметить общий рост литературного нашего

языка, вызванный тем обстоятельством, что в числе деятелей литературного языка оказались в большом числе представители таких слоев общества, которые до этого активного участия в жизни литературного слова не принимали. В результате не мог не произойти известный отход нашего литературного языка от общей линии предшествующего его развития. Язык действительно стал переполняться неологизмами или разнообразными элементами пелитературной или внелитературной лексики. Так, в общий язык стала вливаться областная лексика, просторечная, профессиональная, арготическая и т. д. Все это отводило от нормы прежнего литературного языка, колебало его устои, опиравшиеся на крепкую связь с предшествующими корифеями-классиками, начиная с Пушкина, все это грозило порчей языка.

Такое положение не могло не привлечь общественного внимания к проблеме развития литературного языка. Известна дискуссия на эту тему начала 30-х годов, в которой руководящая роль принадлежала великому нашему деятелю и тонкому ценителю русского слова А. М. Горькому. На этой дискуссии было подчеркнуто, что русский литературный язык есть величайшее общественное достояние, что направление развития его далеко не безразлично для самой общественности. И действительно, итоги дискуссии были чрезвычайно важны для дальнейшего развития русского литературного языка.

Активно было начато оздоровление языка. Так, при быстрых темпах строительства в начальный период революционной поры в язык в громадном количестве стали проникать сокращенные слова разных типов образования. Но это не полнокровная, не дающая нормального обогащения языка лексика, это слова условного, временного назначения.

Понятно, что началось освобождение языка и от этих пластов лексики.

Подобным образом определились грани допустимой для литературного пользования лексикой диалектного происхождения, просторечной и т. д. Наш литературный язык постепенно, в результате неуклонных забот о нем, выравнился (в своей общей линии) и принял прежнее устойчивое положение языка, преемственно развивающегося на основе прочных традиций.

Это внимание к языку, активные заботы о нем не должны ослабляться. Непрерывным должно быть бережное внимание общественности к нашему литературному языку, как к величайшему культурному нашему достоянию, непрерывной должна быть забота о нем и со стороны каждого из нас, счастливых носителей великого русского языка. Необходимо бережно хранить его

чистоту и правильность, бороться за выразительность нашей речи, за простоту языка, активизировать его развитие в более высоких формах.

Правильное в широком смысле пользование русским языком предполагает соблюдение норм литературного произношения: правильное употребление склоняемых, спрягаемых форм, правильность синтаксического построения фраз, правильное семантическое использование лексики — в том именно значении, которое точно соответствует содержанию каждого данного слова.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Что такое *дресва*?»

О. Иваненко, *Новосибирск*

Дресва — мелкий щебень, крупный песок, который образуется при разрушении некоторых горных пород, например гранита (см. Словарь русского языка АН СССР).

В. И. Даль в своем Словаре наряду с тем же значением отмечает еще два. Первое — «...раскаленные в бане... камни толкутся, для мытья полов, и называются *дресвой*», и второе, бытующее в Сибири — «наносная мель в реке, песчаная плешина».

■

«Почему появилось выражение *наломать дров*? Почему — именно *наломать*? Дрова ведь рубят?»

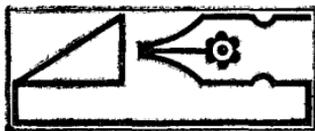
А. И. Николаев, *дер. Соколово, Смоленской обл.*

Выражение *наломать дров* употребляется в русском языке (в просторечии) в переносном значении «наделать глупостей, ошибок» и по своему происхождению — собственно русское. Под словом *дрова* в этом фразеологизме подразумевается хворост, валежник, который не рубят, а ломают, причем обычно на колене, что и получается неаккуратно (см. Н. М. Шанский, В. И. Зимин, А. В. Филиппов. Опыт этимологического словаря русской фразеологии. М., 1987).

«Я, в сущности,
мичуринец...»

О словотворчестве поэта Семена Кирсанова

А. Г. Оганесян,



Семен Кирсанов (1906—1972) занимает в русской советской поэзии особое место. Современник и соратник Маяковского и Николая Асеева, он был неутомимым исследователем и творцом русского литературного языка.

Павел Антокольский писал, что Кирсанов — «великолепный гранильщик самоцветов родного языка, изобретательный, изощренный, никогда не устававший искать новизну: приема, манеры, стиля» (Антокольский П. Смелость // Неделя, 1971. № 21. С. 18).

Обращение поэта к словотворчеству — это и проявление его внутренней потребности к самовыражению, и его художественное миропонимание. Недаром свой неустанный труд по «возделыванию» новых слов поэт сравнивает с работой садовода (курсив наш. — А. О.):

Речь — зимостойкая семья,
Я, в сущности, мичуринец.
Над стебельками слов — моя
упорная прищуренность.

То стужа ветку серебрит,
то душит слякоть дряблая.
Дичок привит, и вот — гибрид!
Моягода, мояблоя!

Другим подарки сентября,
грибарий леса осени;
а мне — гербарий словаря,
лес говора разрозненный.

Сто га словами поросло,
и после года первого —
уже несет *плодыни* слов
счастливого дерево.

Работа в саду

Наиболее активно и плодотворно Кирсанов занимался словотворчеством в 20-х — начале 30-х годов. Почти в каждом стихотворении этого периода (за редким исключением) обнаруживаем окказиональные (индивидуально-авторские) слова. С середины 30-х годов поэт все реже прибегает к словотворчеству, а в лирике военной поры окказионализмы практически не встречаются. Это и понятно, поскольку серьезность проблем, поднятых в этой лирике, — воспевание героизма и мужества советских людей в годы войны, — исключала словесно-языковой эксперимент.

Однако в целом можно утверждать, что поиск новых речевых форм выражения оставался характерным для поэта в течение всего его творчества. Доказательство того — произведения, основной художественно-эстетической функцией которых оставалась словообразовательная игра. Таковы, например, стихотворения «Морская—северная», «Склонения», «В воскресенье», «Черновик», «Боль бблей» и др.

Творческой манере Кирсанова присуще использование окказионализмов, созвучных со словами окружающего их контекста. Образующее звуковое подобие служит не только ритмико-интонационной организации текста, но и созданию самых разнообразных выразительных эффектов, неожиданных смыслов и ассоциаций. Так, в поэме «Золушка» под влиянием общелитературного слова *грошик* появляется новообразование *хорошик*: «Где ты? грошик? грошик-хорошик! — / ищет грошик в снежной пороше <...>». А фонетическая форма слова *злыдни* рождает окказионализм *зудни* (о тех, кто зудит, то есть надоедливо пристаёт с чем-либо): «Летят они, ползут они, / цеце и злыдни-зудни, / рыжие пуза — / вылетели тучи, / завели игру — / Замарашку мучить».

В поэме «Александр Матросов» обыгрывается повтор приставки *пере* в общелитературных словах *пересадить*, *переложить* и в окказионализмах *перестеклить*, *передружить*:

Перестеклить все окна? Землю вымыть?
Пересадить поближе все цветы?
Переложить все стены? Солнце выпутать
из угольной подземной черноты?
Передружить людей? <...>

Такая повторяемость созвучных слов придаст тексту определенный эмоционально-экспрессивный настрой, подчеркивает основную мысль поэта, доводя ее до читателя в наиболее полном, наглядном виде.

Можно отметить у Кирсанова и такие новообразования, в которых не только слышится звуковая перекличка с общеязыковым словом того же контекста, но и проступает образно-смысловая связь с ним. Например, общим у окказионального слова-образа *магнийный* и определяемого им общеязыкового слова *молния* является вспышка, свойственная названному явлению (молнии) и ее определению (*магнийная*): «И во всем Союзе / не было / взгляда недовольного, / когда изрезывала / небо / магнийная молния» (Отношение к погоде).

У Кирсанова встречается немало интересных случаев рифмовки общелитературных и окказиональных слов. Так, в стихотворении «В воскресенье» рифмуются окказионализмы *ничегонеделалье*

и *никуда небеганье*, а, соответственно, называемые ими понятия как бы уподобляются друг другу: «С ничегонеделанья, / с никудапобеганья / портится цвет лица, / делаешься бледная».

В такой же позиции в поэме «Макар Мазай» находятся общелитературное *белокаменный* и окказиональное *флагопламенный*: «К древней / белокаменной, / к новой / флагопламенной, / что растет, не старится, / с буквой М на станциях, / с звездами над городом, / с кремлеглавым золотом (...)»

В этих примерах рифмуются слова не только созвучные, но и похожие по способу образования. Благодаря их соотнесению в стихотворном тексте возникает «помимо простой звуковой игры (...) тот стилистический смысл, что заставляет обратить заостренное внимание на те или иные слова, почувствовать, ощутить их, как бы проявляет их особым «проявителем» и, играя на случайном звуковом сходстве слов, наводит на мысль о их мнимом родстве по корню» (Фаворин В. К. Заметки о языковом новаторстве Маяковского // Известия Иркутского гос. педагогического института. 1937. Вып. 3. С. 99).

Еще один пример. В поэме «Золушка» индивидуально-авторскому переосмыслению подвергается общелитературное слово *мачеха*. У Кирсанова *мачехи* — это *мучихи*, то есть те, кто мучает: «Мачехи, / мучихи, / падайте / в муть! / Жилушки / Золушки / будя / тянуть!»

К характеристике этого и всех других окказионализмов Кирсанова очень подходит, на наш взгляд, высказывание Н. Ю. Шведовой по поводу индивидуально-авторских слов вообще: «Индивидуальные неологизмы могут быть созданы писателем для передачи образа, с эстетической, художественной задачей. Созданные по живым законам словообразования, эти слова могут быть яркими, образными, запоминающимися; но в общую систему литературной лексики они входят с большими ограничениями» (Шведова Н. Ю. Об общенародном и индивидуальном в языке писателя. // Вопросы языкознания. 1952. № 2. С. 108).



В. Ф. Барашков
А КАК У ВАС ГОВОРЯТ?

В издательстве «Просвещение» вышла в свет книга В. Ф. Барашкова «А как у вас говорят?» (М., 1986), предназначенная учащимся. Автор увлекательно рассказывает о русской народной речи. Яркие высказывания русских и советских писателей Пушкина, Гоголя, Л. Толстого, М. Горького, Абрамова, Астафьева, Белова, Паустовского, Распутина, Шолохова свидетельствуют о неисчерпаемом богатстве русского языка. Произведения устного народного творчества — сказки, пословицы, поговорки — продолжают активное бытование и в наши дни. Языкотворцем этих произведений был сам народ, поэтому образность, выразительность и яркость речи проявляются прежде всего в них.

Известно, что русский литературный язык используется на всей территории, где звучит русская речь. А местные говоры употребляются для общения в основном на определенной части территории. Свообразные фонетические, морфологические и синтаксические явления русских говоров более подробно описываются в разделах «Круглое *о* и подчеркнутое *а...*», «Доставать тоё жар-птицу...», «Побежали по Ивану...». Например, слова типа *стада, поля, сена, лето, дело* и др. (с безудар-

ным гласным в окончании), относящиеся обычно в литературном языке к среднему роду, во многих южных говорах используются как слова женского рода: *стада, поля, сена, лета, дела* и др. (в результате замены безударного конечного *о* гласным *а*), а в некоторых русских говорах к западу, к востоку и к юго-востоку от Москвы — мужского: *большой поле, сухой сено, плохой дело* и т. д.

В разделе «Диалектология и диалектологи» отмечена важность изучения особенностей местных говоров, различных областных словарей русского языка, а также значение особой отрасли языковедческой науки — русской диалектологии (греч. *diálectos* — разговор, говор, наречие; *lógos* — учение). Многие ученые-языковеды занимались исследованием русской народной речи, ее местных (территориальных) особенностей, среди них — М. В. Ломоносов, И. И. Срезневский, А. А. Потебня, А. И. Соболевский, А. А. Шахматов, В. И. Чернышев, Д. И. Ушаков, Р. И. Аванесов, Ф. П. Филин. Более подробно рассказано о творчестве В. И. Даля.

В последнем разделе «Родная речь родного края» автор призывает учащихся беречь родную речь: «Надо учиться понимать не только то, что гово-

рят, но и то, как говорят. Определить в речи то, что делает ее своеобразной, точной, привлекательной или просто запоминающейся». Диалектная речь дает богатый и доступный материал для самостоятельных языковых наблюдений школьников. В книге предложены вопросы, которые помогут выявить своеобразие «родной речи родного края».

Многие из рассматриваемых местных слов иллюстрированы: *опечек, голбец, полагчи, дом, изба, хоромина, хата, амбар, стая, повесть, хлев, ладка, ковш — корец, квашня — дежа, кринка — горлач — глечик, горшок, ватрушка — ша́ньга — калитка, луг — левада, новина, петух — кочет — певень, наседка — пару-*

нья, индюк — пырин — каньш, рогов, лес, сузём, гай, дорога, волок, шлях, стежка и т. д. Эти зарисовки дают определенное представление о самих предметах, различных явлениях и вещах.

Книга В. Ф. Барашкова является своевременной и полезной. В ней представлен богатый и разнообразный материал, способствующий освоению норм литературного языка, эффективному повышению культуры устной и письменной речи учащихся. В целом она полезна не только школьникам, но и всем любителям русского языка.

Д. С. Кулмаматов,
кандидат филологических наук
Термез

«ПОТЕБНЯ — ИМЯ ОГРОМНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

«10 (22) сентября 1835 г. на хуторе Манев, расположенном недалеко от села Гавриловки Роменского уезда Полтавской губернии (теперь село Гришило Роменского района Сумской области), в семье отставного штабс-капитана Афанасия Ефимовича Потební родился сын». Так начинается повесть о жизни выдающегося отечественного филолога Александра Афанасьевича Потební, написанная В. Ю. Франчук и предназначенная учащимся (М.: Просвещение. 1986). Эта книга об ученом является наиболее полным описанием его жизни и творчества.

В увлекательной форме ведется рассказ об обстановке, царившей в семье, где рос Александр Афанасьевич, сформировался как ученый и гражданин. Доброжелательную атмосферу для его учебы и творчества создали демократически настроенные родственники, которые

сыграли большую роль в становлении его как личности. Отец и дядя А. А. Потební — потомки запорожских казаков, храбрые офицеры; их духовным наставником был Н. Н. Муравьев — человек, близкий к декабристам. Братья А. А. Потební были связаны с народно-освободительной революционной борьбой, с историей отечественной культуры. Мать и ее братья открыли юному Потební дорогу в мир знаний, познакомили с грамотой, привили любовь к книге, помогли почувствовать красоту и силу русского слова, познакомив с лучшими произведениями русских писателей.

Читая эту книгу, мы узнаем о научной и педагогической деятельности ученого, каким путем он шел, создавая труды, значение которых сохранилось до наших дней. «Стройное богатство подобранных данных, их объяснение и сближение,

приводящих к характеристике древнего и нового русского языка, и положительность выводов о ходе его изменений дают труду А. Потебни важное значение в ряду других новых трудов по русскому языку, — писал И. И. Срезневский о главном труде А. А. Потебни „Из записок по русской грамматике“. — Не он начал то, за что взялся; но он продолжал начатое другими с таким успехом, что если теперь кто-нибудь займется изучением русского языка с исторической точки зрения, при помощи трудов, изданных до Записок А. Потебни, и не возьмет в помощь себе этих Записок, то он во многих случаях останется в темноте, с вопросами без ответов или с неясными ответами без доказательств.

А. А. Потебня не только подвел итог многим достижениям науки, предшествовавшим его трудам, но и начал новую эпоху в языкознании, литературоведении, славяноведении, фольклористике. «Потебня — имя огромного значения как в области лингвистики, так и в области теории литературы. Новые течения в обеих областях не обходят его...» — писал Ю. Н. Тынянов в рецензии на книгу об А. А. Потебне (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977).

Такой научный труд, как «Мысль и язык» А. А. Потебни, определил отношение языкознания к смежным наукам — социологии, философии, истории, психологии. Ученый утверждал, что «слово является необходимым для преобразования низших форм мысли в понятия» и что без языка мысль сама по себе не может существовать; язык активно воздей-

ствует на мышление и благодаря этому развивает сознание человека. Потебня фактически приблизился к материалистическому пониманию связи языка и мышления. Книга «Мысль и язык» показала научному миру России, что в лице ее автора отечественная филология получила исключительно одаренного лингвиста — философа, идущего своим путем в изучении языка.

Воспоминания современников, материалы советских архивов, в которых бережно сохраняются рукописи А. А. Потебни, письма, документы, включенные в книгу, помогают полнее раскрыть образ ученого, педагога, человека. А. А. Потебня, как и многие передовые люди того времени, считал делом своей жизни служение родному народу и верил в его светлое будущее. Не случайно он писал: «Завидно то состояние общества, при котором всякий рабочий мысли, не стоящий ниже общего уровня, сознательно идет по следам своих предшественников, принужденный совестью высоко ценить их заслуги, вдохновляемый их трудами, поддерживаемый участием и правдивым скорым судом сотрудников — соотечественников. И кажется, будто силы растут, когда чувствуешь, что тебя поднимает волна общей мысли».

Надеемся, что эта увлекательная книга откроет не только юным читателям, но и всем, кто интересуется отечественной филологией, еще одну замечательную страницу в истории нашей науки, познакомит с тем, как она развивалась, как шли исследования, связанные с историей славян и их языков.

Т. С. Колмакова

В редакции журнала «Русская речь» состоялась встреча с делегацией китайских русистов. Беседу с учеными КНР вел главный редактор журнала В. В. Иванов. Во встрече участвовал генеральный секретарь МАПРЯЛ, директор Института русского языка им. А. С. Пушкина В. Г. Костомаров.

У нас в гостях китайские русисты

Гости в редакции — явление обычное, можно сказать — рабочее. Это — не случайные посетители, а люди, как правило, тесно сотрудничающие с журналом, понимающие его проблемы и задачи. За двадцать лет существования «Русской речи» в редакции побывали многие ученые-языковеды, литературоведы, историки, писатели, молодые исследователи, только начинающие свой путь в науке. Знаком наш адрес и зарубежным лингвистам-русистам. И все же приезд в редакцию китайских специалистов в области русского языка представлял для всех нас особый интерес.

Мы ждали друзей и готовились по традиции угостить их русским чаем, родиной которого в далеком прошлом был, как известно, Китай. Нам было известно, что китайские русисты хорошо владеют русским языком. И все же мы не предполагали, что в ответ на приветствие наши гости заговорят по-русски без малейшего акцента, казалось, совершенно не затрудняясь поисками того или иного русского слова или его формы. Где, когда они могли так превосходно освоить язык? Этот вопрос возникал у каждого из нас и, естественно, был задан самым первым. Вполне понятно, конечно, что китайские русисты занимаются ничем иным, как русским языком, и должны знать его, однако, услышать живую русскую речь из их уст было неожиданно и приятно.

Юань Фугень, Янь Цзэе и Ван Дяфэй — русисты с очень большим стажем. Они начинали изучать русский язык еще в 50-е годы, когда в Китае работало много советских специалистов. И тогда русская речь свободно звучала в городах Китая. Рост экономических связей укреплял связи культурные и положительно сказывался на дружбе двух соседних народов и государств.

В годы «культурной революции» сохранить свою верность избранной профессии удалось далеко не всем китайским русистам. Конечно, трудно было поверить, что рано или поздно придет

время, когда профессия языковеда-русиста вновь обретет право на существование в Китае. Время это наступило. Уже семь лет китайская русистика имеет свою официальную организацию КАПРЯЛ (Китайская ассоциация преподавателей русского языка и литературы), а с 1985 года КАПРЯЛ стала действительным членом Международной ассоциации русистов (МАПРЯЛ). Спустя год она приняла участие в работе VI Конгресса МАПРЯЛ в Будапеште.

Юань Фугень, генеральный секретарь КАПРЯЛ, является заместителем декана факультета русского языка Шанхайского института иностранных языков.

Ван Дяфэй, руководитель китайской делегации, работает в Пекинском институте иностранных языков, профессор, заведует аспирантурой.

Янь Цзяе — доцент, декан факультета русского языка Хэйлуцзянского университета в Харбине.

Спрашиваем, что в трудный период в стране помогало им остаться верными своей профессии, чем питалась их надежда на лучшие времена?

Ван Дяфэй ответил на этот вопрос неожиданно просто: «Русские книги и учителя. Нам повезло на замечательных учителей. Они и были неиссякаемым источником наших знаний и духовной опорой. Хочется назвать имя человека, который и до сих пор работает в Пекинском институте иностранных языков — это Елизавета Павловна Ли, жена китайского революционера Ли Лишаня. На ее трудолюбии и оптимизме держался весь русский факультет. Она, ее дочь (тоже русист), вся ее семья очень большой вклад внесли в развитие русистики в Китае».

Янь Цзяе называет имена советских русистов, работавших в КНР в 50-е годы: С. П. Мамонов, И. Я. Сахаров, Н. В. Попова, Г. П. Уханов.

Одной из главных своих задач китайские товарищи считают подготовку достойной смены, своих учеников.

Ван Дяфэй. Этой цели посвящена и наша поездка в СССР. Мы рассчитываем здесь получить необходимые консультации у русских языковедов. Очень нас обогащают встречи с учеными, коллегами из Института русского языка им. А. С. Пушкина, Института иностранных языков им. М. Тореза, Института русского языка АН СССР, МГУ. Стараемся полнее использовать такую ценную для нас возможность поработать в богатейшей Библиотеке им. В. И. Ленина. Вообще мы переживаем огромную радость, имея здесь такой широкий выбор нужной литературы.

В. В. Иванов. Как сегодня обстоит дело с изучением русского языка в Китае?

Юань Фугень. Сейчас десять институтов иностранных языков имеют свои факультеты русского языка. Кроме того, 23 университета и педагогических института имеют такие же факультеты. Во многих вузах открыты заочные и вечерние курсы русского языка.

В. В. Иванов. Это будущие преподаватели русского языка?

Юань Фугень. Преподавательской деятельности посвящают себя немногие. Большинство выпускников становятся переводчиками.

Необходимость в специалистах русского языка велика, и поэтому, чтобы быстрее удовлетворить в них потребность, многие вузы сократили срок обучения с пяти до четырех лет.

В. В. Иванов. Следует ли это понимать так, что учебная программа, рассчитанная на пять лет, изучается студентами за четыре года? Или она сокращена?

Юань Фугень. Весь учебный курс, например, у нас в Шанхайском институте, усваивается студентами в четыре года за счет некоторого увеличения часов и дополнительной самостоятельной работы студентов. Весь курс по специальности «Русский язык» делится на два этапа — основной и продвинутый. Задача первого этапа — заложить основы знаний языка с упором на комплексное развитие разговорных навыков. Главное внимание — совершенствованию устной речи. С этой целью широко используются всевозможные новейшие технические средства обучения.

На 4-м курсе студенты специализируются по языку, литературе, методике преподавания, социологии, занимаются на различных спецкурсах.

Помогают при обучении и уроки русского языка, включенные с 1985 года в программу Пекинского радио. С апреля 1986 года такие же уроки передаются по радио и в Шанхае.

Нельзя не сказать о журналах, которые также являются большими нашими помощниками в обучении студентов русскому языку и способствуют развитию русистики в Китае. Из двадцати журналов, посвященных иностранным языкам, пять целиком и полностью — русскому языку и литературе. «Русский язык в Китае», «Русский язык в школе», «Русская и советская литература», «Современная советская литература», «Иностранные языки в школе» (выпуск, посвященный изучению русского языка) — опубликовали уже более 700 статей, в которых рассматриваются вопросы преподавания и изучения русского языка.

«Русский язык в Китае» — главный печатный орган КАПРЯЛ,

основан в мае 1982 года. Редакция журнала работает при факультете русского языка Шанхайского института иностранных языков. На его страницах постоянно освещаются новейшие достижения советских русистов и других зарубежных ученых, рассказывается о работе МАПРЯЛ и КАПРЯЛ. Журнал стремится объединить вокруг себя все лучшие научные силы лингвистов, укрепить их творческие связи. Велика в нашей преподавательской деятельности роль и других журналов, как например, «Современная советская литература». Кстати, Ван Дяфэй — один из ее активных сотрудников.

Ван Дяфэй. Да, журнал ведет очень большую работу по пропаганде лучших произведений советской литературы. Опубликованы романы Ч. Айтматова «Плаха», В. Дудинцева «Белые одежды», пьеса М. Шатрова «Диктатура совести», повести М. Яковлева «Маршал Жуков», В. Быкова «Карьер», В. Распутина «Пожар», множество рассказов. Словом, практически все, что представляет особый интерес для советского читателя, мы предлагаем и нашему читателю.

В. В. Иванов. Кто из писателей наиболее привлекает внимание, кем зачитываются в Китае сейчас?

Ван Дяфэй. Пожалуй, Шукшиным. Впрочем, у вас сейчас столько интересной литературы, что увлечься можно далеко не одним писателем. И это очень хорошо. Издающиеся сейчас произведения, несомненно, способствуют росту интереса в Китае к русскому языку.

В. В. Иванов. Сейчас в СССР выпускается огромное количество книг, как в этом книжном море вы определяете нужную вам?

Ван Дяфэй. Прежде всего — это книги, получающие всеобщее признание, отмеченные Государственными премиями, и, конечно, не исключается личный вкус. Мне, например, очень нравятся еще и Ю. Трифонов, и Ю. Казаков...

В. В. Иванов. Какие же прогнозы у вас в отношении роста популярности русского языка в Китае?

Юань Фугень. Я думаю, что коллеги поддержат меня: обнадеживающие результаты скажутся уже в недалеком будущем. Но пока в высших учебных заведениях русский язык как специальность занимает третье место.

В. В. Иванов. А первое и второе каким принадлежат?

Юань Фугень. Английскому и японскому. В настоящее время это больше отвечает потребностям нашего общества и условиям международного делового общения. Но, как показывает жизнь, русский язык в ближайшем будущем займет второе место. И мы,

русисты, прилагаем к этому свои силы: готовим специалистов по русскому языку. Мы тоже перестраиваемся, используем новые формы и методы работы. Так, например, до сих пор нас не удовлетворяло преподавание русского языка, которое велось по принципу «русский язык в чистом виде», т. е. без связи его со страноведческими знаниями, культурой, бытом страны, ее традициями и т. д. Теперь мы считаем, что наши ученики должны не только хорошо владеть языком, но и достаточно глубоко разбираться в какой-то конкретной области советской науки, экономики, социологии, медицины и т. д.

В. В. Иванов. Задача не из легких, если учесть, что вы сократили на один год курс обучения, а принимаете в вуз с «нулем» знаний языка.

Ван Дяфэй. Да, поэтому-то мы и оказались сейчас в очень сложном положении, если учесть и тот немаловажный факт, что для китайцев русский язык — один из труднейших. Совсем другое дело — английский, а уж о японском и говорить не приходится — достаточно одного — двух лет...

Чтобы выполнить учебную программу качественно, придется больше заниматься дополнительно со студентами. По этой причине у нас много сторонников увеличения, а не сокращения времени обучения в вузе. И их можно понять, ведь в идеале наши выпускники — те, кто останется работать в вузе, — должны со временем читать лекции на русском языке. К тому же будущие преподаватели вузов обязаны знать и теоретические вопросы языкознания. Так что, конечно, четыре года обучения в вузе — мало, чтобы получить необходимые знания и стать специалистом высокого класса.

В. В. Иванов. А сколько лет изучают язык в школе, в каких классах?

Юань Фугень. В школу дети идут с шести лет, учатся — 12 лет, из них 6 лет, начиная с 7-го класса (иногда, особенно в больших городах, — с 5-го), изучают иностранный язык. Но с русским языком в школах дело обстоит сложнее и вот почему. В вузах сейчас преобладает английский, поэтому родители стараются определить детей в английские классы, чтобы не осложнять им жизнь при поступлении в вуз и последующем обучении.

В. Г. Костомаров. Хочу предложить свое видение ситуации с русским языком в Китае. На волне освободительного движения, возросшего чувства интернационализма, патриотизма, героики военных лет был очень большой интерес к СССР и к русскому языку, который переходил все больше в область, я бы сказал, политико-духовную.

В основе выбора иностранного языка лежит прежде всего экономика (торговый оборот, промышленный и научный прогресс, поскольку наука сейчас стала производительной силой и т. д.). В. И. Ленин всегда подчеркивал важность национальной психологии, духовности, культуры, но экономические факторы считал главными в судьбе языка. В Китае был явно сделан сильный акцент на национальной психологии и духовно-политическом развитии; экономически-торговый, производственный фактор отставал. Особенно это было заметно в быту, в повседневной жизни. И этот перекоп, естественно, сказался: после большого увлечения русским языком, не подкрепленного базисно, экономически, наступило регрессивное движение. За несколько печальных лет было уничтожено многое из того, что успешно развивалось в стране.

Сейчас наблюдается очень своеобразная ситуация: с одной стороны, несмотря ни на что — рост духовных факторов, общекультурных связей, общность идеологии вызывают необходимость восстановить утраченное за годы охлаждения наших отношений, с другой стороны — потребность в экономических основаниях. Если они будут, то прогноз на возрастание интереса к русскому языку на ближайшем этапе, высказанный нашими китайскими товарищами, безусловно, оправдается.

Янь Цзяе. В Харбине, например, наблюдается бóльший интерес к русскому языку, чем на юге.

В. Г. Костомаров. Это неудивительно. Помимо того, что в Харбине влияние русского языка исторически сильнее (там было много русских переселенцев, сказывается и близость Советского Союза, то есть крепче межкультурные и экономические связи, там, кстати, начинал работать и первый факультет русского языка и т. д.), здесь есть и экономическая более солидная база.

Янь Цзяе. Да, это так. В Харбине построено при помощи советских специалистов и по советским проектам очень много объектов.

В. Г. Костомаров. Опыт 50-х годов показывает, что нельзя менять местами два таких важных фактора, как экономика и духовность, чтобы не вернуться к тем результатам, которые нас не могут удовлетворить. Объективная реальность — неразрывная связь этих факторов, это надо учитывать в силу истории, во многом общей культуры, экономики, идеологии.

Янь Цзяе. В силу будущего.

В. Г. Костомаров. Верно, в силу будущего. Вот поэтому я смотрю на будущее русского языка в КНР оптимистически. И у нас в стране будет шире развиваться китайский язык. Но главное, что все мы, филологи, должны понять и почувство-

вать свою историческую ответственность за взаимопонимание и сотрудничество народов на Земле.

Юань Фугень. На двух Всекитайских совещаниях по вопросам преподавания иностранных языков (1978—1980) перед русистами Китая были поставлены такие задачи: заложить прочные основы иностранных языков в школе; улучшить преподавание в вузах, как филологических, так и нефилологического профиля; расширить кругозор студентов. Кроме того, мы хотим, чтобы наши выпускники, помимо знаний языка, овладели еще какой-то дополнительной специальностью. Это повысит авторитет филологического образования. Далее, нам необходимо преодолеть проблему нехватки учебников, словарей, видеокассет и других специальных пособий по русскому языку.

Конечно, проблему высокообразованного специалиста-русиста быстро не решить, но все, что для этого требуется, мы стараемся сейчас предусмотреть.

В. Г. Костомаров. Что же, это правильные направления. Дать вторую специальность выпускнику — разумно. В Венгрии, например, такой опыт практикуется. Приходит в школу учитель родной литературы и, скажем, русского языка.

Наша с вами ответственность за будущее русского языка состоит еще и в том, чтобы мы толково и умело ему обучали, верно расставляли акценты, выделяя на первый план главное. Что именно? Думаю, что сейчас очень важно показать научно-техническое значение русского языка. Конечно, в культурном и нравственном формировании человека громадно значение произведений Тургенева, Льва Толстого, Гоголя, других русских и советских писателей. Но экономические причины, вызывающие необходимость знания русского языка, являющиеся условиями дальнейшего развития общества, следует выдвинуть вперед.

Конечно, верно и замечание наших китайских товарищей в отношении учебных материалов. Это справедливый упрек нам. Процесс обучения связан с текстом, с книгой. И мы обязаны обеспечить этот процесс на всех уровнях всем необходимым, если хотим добиться положительных результатов в обозримом будущем.

Ван Дяфэй. Те книги, которые мы от вас получили, — это бесценный для нас подарок. Примерно с 1966 года и до конца 70-х годов был перерыв в снабжении книгами, что не замедлило сказаться на результатах научных исследований.

Дополню сказанное Виталием Григорьевичем. Сегодня мы еще не можем быть удовлетворены состоянием русистики в Китае, но замечаем те ободряющие моменты, которые позволяют

нам надеяться на то, что прогрессивное движение в ее развитии будет нарастать. Возьмем наш (Пекинский) институт — это более двух тысяч студентов и несколько сот преподавателей. Можете себе представить, что это такое, когда бы все эти люди оказались в бездействии, а такой период был. Мы называем его вторым, после первого, когда китайская русистика 50-х годов была еще в младенческом состоянии. А нынешний этап, третий, — период возобновления, перестройки, переоценки ценностей. Как ни говори, а кадры все-таки сохранились и уже выросли. Есть опыт, знания, есть, что передать молодым. А на одном только нашем факультете аспирантов 30 человек.

При всех вузах на факультетах русского языка — свои аспирантуры, которые являются хорошей формой подготовки кадров преподавателей и научных работников. Три года назад создана в стране первая докторантура (в Шанхае), теперь она есть и в Харбине, и в Пекине. Читаются курсы по функциональной стилистике, новой академической грамматике, в каждом институте — свои интересные достижения. Конечно, если бы не вынужденный перерыв, мы бы могли, безусловно, достигнуть большего. Вот поэтому и стараемся за время стажировки в Советском Союзе обогатить себя знаниями, чтобы дома поделиться ими с коллегами и тем самым внести свой вклад в развитие науки о русском языке.

Я лично занимаюсь функциональной стилистикой, разговорной и ораторской речью, анализом художественных текстов, участвую в подготовке хрестоматии с методическими разработками. Планов много, но здесь, в Советском Союзе, мы преследуем главную цель — накопить знания.

Инь Цзяе. У нас институт (Харбин) работает над изучением лексикографии. Уже вышел очень солидный русско-китайский словарь. Работаем над новым словарем, рассчитывая подготовить его за пять лет.

Активная деятельность русистов — один из показателей благоприятного состояния изучения русского языка в Китае. Отсюда и другой ободряющий показатель — настроение русистов. Мы замечаем: если раньше студенты учили русский язык неохотно, сомневаясь, что найдут потом ему применение, то сейчас они понимают, что их труд бесполезен. Хороший русист нужен, а чтобы им быть, нужны знания, умение.

В. Г. Костомаров. Надо совершенствовать методику преподавания, ибо ничто так не снижает интерес к языку, как плохое обучение, плохие его результаты. Очень важна личность учителя. За то, что в Китае сохранились прекрасные кадры, преданные

русскому языку, великолепные специалисты, надо во многом поблагодарить их учителей.

Хороший учитель на всю жизнь остается в памяти. Его образ живет как символ любви к предмету, уверенности в его важности.

Поэтому судьба русского языка в Китае очень зависит от учителей, от их подготовленности, преданности своему предмету. Думаю, что присутствующие китайские товарищи, их русская речь, их рассказы внушают самый большой оптимизм, а наш долг — помогать им всегда и во всем.

Беседу записала
И. Б. Еськова

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Откуда произошло слово *сердце*, почему русские назвали механизм, перекачивающий кровь, именно так?»

Ковалевский, Симферополь

Слово *сердце* — древнейшее не только в русском, но и в белорусском, украинском, польском, сербохорватском и унаследовано ими от языка праславянского. Этимологи реконструировали праславянскую праформу *sьrdьko, уменьшительную к древнему корневому имени sьrd-/ > русское *серд-*/. Корень этот сохранился в таких словах, как *сердобольный*, *жестокосердный*, *милосердный*. К нему же восходит и русское *середá* (с другой ступенью чередования гласных).

Праславянское *sьrd- родственно литовскому širdis «сердце», латышскому sirds «сердце, мужество, гнев», древнепрусскому seurg «сердце». Все эти индоевропейские названия восходят к индоевропейской праформе *k̑erd. Само же значение «сердце», по предположению известного ученого-языковеда В. М. Иллича-Свитыча, развилось в индоевропейском языке из значения «внутренность грудной клетки».

VII Международная конференция редакторов журналов по русистике



октябре 1987 года в Пекине прошла очередная международная конференция редакторов журналов по русистике. Такие конференции-встречи способствуют обмену опытом работы этих изданий, знакомству с положением дел в изучении и преподавании русского языка и литературы в разных странах, с характером различных журналов, с ближайшими и перспективными планами их деятельности.

Конференция в Пекине, решавшая те же задачи, что и проходившие до нее в СССР, Венгрии, Болгарии, Польше, ЧССР, вместе с тем имеет свое особое значение, так как впервые во встречах редакторов приняли участие китайские русисты, долгие годы оторванные от своих коллег из разных стран. Создание Китайской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (КАПРЯЛ) и последующее вступление ее в МАПРЯЛ обусловили восстановление международных связей китайских русистов, с одной стороны, и приобщение русистов других стран к работе преподавателей русского языка в КНР. В этом плане проведение конференции редакторов журналов по русистике в Пекине было важно как для тех, кто издает журналы по русскому языку и литературе в Китае, так и для тех, кто получил возможность ознакомиться с этой деятельностью китайских русистов.

В конференции редакторов журналов по русистике в Пекине приняли участие представители Болгарии, Монголии, Польши, СССР, ЧССР, США. В состав советской делегации входили Л. Ю. Максимов (зам. гл. редактора журнала «Русский язык в школе»), И. В. Баранников (гл. редактор журнала «Русский язык в национальной школе»), А. В. Абрамович (гл. редактор журнала «Русский язык за рубежом»), Л. Н. Бабаева (гл. редактор журнала «Русский язык и литература в азербайджанской школе»), В. В. Иванов (гл. редактор журнала «Русская речь»). Возглавлял делегацию генеральный секретарь МАПРЯЛ В. Г. Костомаров.

В составе делегации была также корреспондент «Литературной газеты» С. Д. Селиванова.

Но, конечно, самой представительной делегацией была делегация Китайской Народной Республики: в нее входило 30 человек — представителей различных китайских журналов, издательств, вузов, общественных организаций.

В течение четырех дней на конференции шел заинтересованный и профессиональный разговор о проблемах работы журналов по русистике, о необходимости больших контактов специалистов разных стран, о трудностях, с которыми сталкиваются редакции в получении необходимых материалов и т. д. С особым вниманием участники конференции слушали выступления редакторов китайских журналов: ведь по существу это было первое знакомство русистов разных стран с деятельностью китайских ученых и преподавателей, с их проблемами, с их достижениями. А эти достижения, надо признать, велики: журнальная деятельность по пропаганде русского языка, по вопросам улучшения его изучения и преподавания в школах и вузах разворачивается все шире и шире; поражает своим размахом и переводческая работа, связанная с распространением в Китае произведений современной советской литературы.

Представители китайской делегации говорили на конференции и о том, что в работе журналов по русистике в Китае и в изучении и преподавании русского языка в школах и вузах большую помощь оказывают им советские родственные издания, материалы которых используются как в журнальных публикациях, так и на занятиях по русскому языку. В этом плане высокая оценка китайскими товарищами была дана публикациям «Русской речи», особенно связанным с проблемами языковой культуры, с историей слов и выражений, с языком современной советской литературы.

В резолюции, принятой конференцией, подчеркивается необходимость продолжения контактов редакторов журналов с целью обмена информацией и опытом работы, публикации обзоров, посвященных новейшим достижениям в области русистики, и т. п. В целом конференция способствовала укреплению творческого сотрудничества журналов, координации их работы.

Советская делегация находилась в центре внимания китайских ученых, преподавателей, аспирантов и студентов Пекинского института иностранных языков. Ректор этого института профессор Ван Фусян, который организовал проведение международной конференции и опекал всех участников (за что ему была высказана глубокая благодарность), не только познакомил

с работой возглавляемого им института, но и устроил целый ряд встреч с преподавателями, аспирантами и студентами. На этих встречах члены советской делегации рассказывали о советской русистике, о современной советской литературе, отвечали на многочисленные вопросы по разным проблемам науки о русском языке. Китайские преподаватели и аспиранты получали также консультации советских лингвистов по вопросам, связанным с их работой или с темами подготавливаемых диссертаций.

Участники конференции получили возможность познакомиться с достопримечательностями Пекина, побывать в его дворцах и парках, увидеть Великую Китайскую стену, посмотреть китайский балет. Радужие и гостеприимство, открытость и откровенность — так принимали китайские друзья своих коллег из Советского Союза.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Где ставится ударение в слове *нарочный*? Одинаково ли значение слов *нарочный* и *посыльный*?»

Оля Митрошина, *Москва*

Посыльный, нарочный — эти слова-синонимы имеют одно общее смысловое значение — тот, кого посылают куда-то с каким-либо поручением, известием. Но слово *нарочный* имеет и дополнительное значение — это *посыльный*, передающий что-то срочное, не терпящее отлагательства.



«Разрешите мои сомнения: как правильно произнести имя великого грузинского поэта: Важа Пшавела или Пшавэла?»

Л. Листовченко, *Владивосток*

Пишется Важа *Пшавела*, но произносится [вэ] (Словарь ударений для работников радио и телевидения, М., 1984).

К 1000-ЛЕТИЮ ВВЕДЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ

В 1988 году широко отмечается знаменательное событие в нашей истории — 1000-летие введения христианства на Русь, сыгравшего огромную роль в развитии русской культуры.

В связи с этим «Русская речь» предлагает вниманию читателей ряд публикаций в этом и последующих номерах, посвященных начальному этапу развития древнерусского литературного языка.



Кто и когда «нам письмена сотворил и книги перевел»?

Е. М. Верещагин,
доктор филологических наук,
В. П. Вомперский,
доктор филологических наук

В конце 862 года к византийскому императору Михаилу III прибыло посольство от князя Ростислава, могущественного правителя Великой Моравии — христианского славянского государства. Моравские послы приехали по важному делу.

Начальная русская летопись — «Повесть временных лет» — в своей обширной статье, которую академик А. А. Шахматов назвал «Сказанием о преложении (переводе) книг», воспроизво-

дит соответствующее обращение моравских послов к императору Михаилу. (Передаем древнерусский текст в несколько упрощенном виде, с небольшими пояснениями. На наш взгляд, русская летопись понятна и современному читателю, не имеющему специальной подготовки.)

«Земля наша крещена, и пѣсть у нас учителя, иже бы ны наказал (который бы наставил нас), и поучал нас, и протолковал святыя книги. Не разумѣем бо ни гречьску языку, ни латыньску (...). Тѣмже не разумѣем книжнаго образа, ни силы их. И пошлѣте ны учителя (и пошлите нам учителей), иже ны могут (которые нам могли бы) сказати книжная словеса и разум их».

Император Михаил, благосклонно выслушав просьбу, которая открывала перспективы расширения византийского влияния, вспомнил о замечательном соотечественнике — крупном ученом Константине, с юности прозванном Философом, по которого за любовь к языкам следовало бы называть и Филологом.

Константин Философ уже дважды до этого проявил себя как успешный миссионер (он ездил к сарацинам и к хазарам). Лучшего исполнителя новой задачи нельзя было отыскать. Михаил настойчиво подчеркивает незаменимость философа-мудреца: «Ии (другой) сего не может сотворити; сию рѣчь (это дело) не может ни исправити якоже ты».

Наряду с глубокими и обширными познаниями Константина, его миссионерским опытом, на принятие решения оказало влияние и то, что философ и брат его Мефодий (назначившийся ему в помощники и спутники) безусловно говорили по-славянски. Советники царя, как показывает наша начальная летопись, подтвердили, что оба брата «разумливи языку словѣнску». Впрочем, Михаил III и сам это знал: «Вы бо еста селунянина (вы оба выходцы из Солуни), да селуняне вси чисто словѣнски бесѣдуют». Действительно, и Константин, и Мефодий родились и выросли во втором по величине и значению византийском городе Солуни (совр. Салоники), а в Солуни и особенно вокруг нее жило множество славян. Солунские славяне знали греческий, но и многие солунские греки свободно говорили по-славянски. Кстати, и в самом Константинополе была велика славянская прослойка, так что выехавший из Солуни 17—18-летний Константин отнюдь не был лишен разговорной практики. Что же касается Мефодия, то он почти десять лет был архонтом (воеводой) какой-то территории, населенной славянами, и житие сообщает, что он не только владел языком, но и «проучился всѣм обычаем словѣнским».

Таким образом, Константин и Мефодий были во всеоружии для просвещения моравского народа. Поручение совпало с их собственным горячим желанием. Константин не посчитался с нездоровьем и согласился: «И труден сый и болен тѣлом, с радостно иду тамо».

Так в конце 862 года (или в начале 863) было принято решение, повлиявшее на судьбу всех славянских народов, особенно южных, но не в меньшей степени и на судьбу восточных славян — предков русских, украинцев, белорусов, литературные языки которых сложились под мощным воздействием того самого старого славянского языка, к созданию которого и приступили византийские ученые мужи.

Уже весной 863 года Константин и Мефодий появились в Моравии, проделав далекий путь. Источники сообщают, что Константин «абие (тогчас) сложи писмена и начет бесѣду писати», «абие устроив писмена и бесѣду составль». Для агнографа (сочинителя житий) на этот счет служило простое объяснение: помогли пост и молитва. Мы же вправе предположить, что оба брата размышляли о создании славянской азбуки и даже предпринимали практические шаги к ее созданию, включая переводы, задолго до прихода Ростиславова посольства.

Обратите внимание: оба жития подчеркивают, что, получив поручение, Константин стал исполнять его в содружестве с «единомысленными» людьми: конечно, с Мефодием, но и «с иными посѣшники», «с иными, иже бяху тогожде духа, егоже и си». На основании косвенных показателей проясняются имена сподвижников: Климент, Наум, Ангеляр, Савва и Лаврентий. Таковы «сѣдемчисленники» (оба первоучителя и пять начальных учеников), известные нам поименно, которым, вместе с моравянином Гораздом, присоединившимся позже, выпали на долю великий труд и честь создания первого литературного языка, общего для всех славян.

Конечно же, создать ученое содружество можно было только заблаговременно. Исследователи считают, что еще до поездки к хазарам, когда Константин жил у брата в малоазийском монастыре (Полихрон? Полихнион?), они вдвоем приступили к разработке азбуки и, возможно, к переводам. Житие сообщает, что в то время Константин был «нощ и день выну (постоянно) с братом своим», «токмо книгами бесѣдуя» и «в сих упражняаше ся». Он был чем-то неотступно занят («к трудом же труды прилагая»), и автор жития знал — чем. Агнограф обещал даже потом сообщить об этом, но его намерение осталось неисполненным.

Если высказанные соображения имеют вес, то надо полагать,

что первоначальные попытки создать для славян азбуку и осуществить для них переводы с греческого начались лет за восемь до 863 года. Скорее всего, в указанном году начатая работа лишь получила свое ускоренное завершение.

...Итак, на исходе зимы 863 года из Константинополя в Велеград, столицу Великой Моравии, выехали просветители славян Константин Философ и Мефодий. Они везли с собой систематизированную славянскую азбуку и первые славянские книги. В сопроводительном послании-эпистолии Михаила III Ростиславу содержались высокие, торжественные и вполне уместные слова: «И сеи прими дар болшии и честиѣ паче всякого злата и сребра, и камня драгаго и богатства прѣходящаго». Первоучители несли с собой книжное просвещение.

Известно, что важнейшей предпосылкой появления письменности является экономическая, политическая и духовная консолидация этноса, выражающаяся в создании собственной государственности. Крупные надплеменные государственные образования у славян появляются уже в начале IX века. Единство экономики, общественно-политической жизни, объединяющая роль централизованной религии (которую также следует учитывать) — таковы объективные исторические причины, вызвавшие к жизни славянские буквы. И одновременно весьма счастливо сошлись субъективные обстоятельства. Константин-Кирилл и Мефодий действительно были гениальными, всесторонне образованными людьми, преданными славянскому просвещению. История творится людьми, и обществу не может быть безразлично, кто они.

Изобретенная Кириллом и Мефодием азбука хорошо согласована со звуковыми (фонетическими, фонемными) особенностями славянского языка. Черноризец Храбр, писатель X века, сообщает, что славяне, «крестивше же ся, римскими и гречьскими писмены нуждааху ся (пытались, буквально: исхитрялись) писати словѣнскы речь без оустроения». Но в греческом алфавите не было букв, способных передать носовые гласные, которые составляли в IX веке своеобразие и прелесть славянской речи. Даже слово *бог* записать греческим алфавитом IX века было невозможно, потому что буква, известная в классическом произношении как «бета», к исходу тысячелетия стала называться «витой» (отсюда, кстати, наш *алфа-вит*) и соответственно обозначала звук *в*, а не *б*. Храбр совершенно правильно перечисляет и другие славянские слова, которые невозможно записать греческими буквами.

Дальше, в том же трактате «О письменах» черноризец Храбр раскрывает творческую лабораторию Константина Философа:

некоторые славянские буквы он создал «по чипу греческих писмен», а для фиксации типично славянских звуков (-фонем), например тех же носовых, редуцированных гласных, аффрикат, палатализованных и некоторых звонких согласных, пришлось изобрести новые значки «по словьности рѣчи».

Известно, что алфавит, на котором печатаются русские, болгарские, украинские, белорусские, сербские, македонские и некоторые неславянские (скажем, узбекские, таджикские, мон-

†	а	Ѡ	и	ѡ	т	Ѧ	ъ
⊕	б	ѡ	мягкое г	Ѣ	у	ѧ	ь
⊖	в	Ѣ	к	Ѥ	ф	Ѩѩ	ы
⊗	г	Ѥ	л	Ѧ	Ѡ	Ѭ	ея
⊘	д	ѧ	м	Ѣ	х	Ѱ	ю
⊙	е	Ѩ	н	Ѧ	о	Ѳ	е носовое юс малый
⊚	ж	ѩ	о	Ѩ	шт	Ѵ	о носовое юс большой
⊛	дз	Ѭ	п	Ѧ	ц	Ѷ	йотированный юс малый
⊜	з	ѭ	р	ѧ	ч	Ѹ	йотированный юс большой
⊝	и	Ѯ	с	Ѩ	ш	Ѻ	ижица

гольские и многие другие) книги, называется кириллицей. Соответственно многие думают, что Константин (по монашескому имени Кирилл) и есть создатель алфавита, носящего его имя. Но это не так.

Непосредственно Константин-Кирилл изобрел другую азбуку — ту, которая представлена на рис. 1. Именно эта азбука, элементами которой являются круги, полукружья, овалы, палочки, треугольники, квадраты, кресты, перекрестья, петельки, завитушки, уголки и крючочки, создана первоучителем (так думает большинство исследователей-специалистов). Она оригинальна, прямо невыводима из других алфавитов, до деталей продумана, да и написанные этими буквами рукописи по территории относятся к Моравии и к Балканам и принадлежат к числу древнейших.

Глаголица не обнаруживает прямой зависимости от греческого алфавита: конечно, Кирилл заимствовал общий принцип устройства и частично порядок расположения букв, но сами греческие буквы он в славянскую азбуку не перенес.

История второго славянского алфавита (рис. 2) представляет собой загадку. Конечно, он, за отдельными исключениями, явля-

Кириллица		Греческое уставное письмо	Кириллица		Греческое уставное письмо
Б у к в ы и их названия	Цифровое значение		Б у к в ы и их названия	Цифровое значение	
А -аз	1	Α	Х -хер	600	Χ
Б -буки			Ω -омега*	800	Ω
В -веди	2	Β	Ц -цы	900	
Г -глаголь	3	Γ	У -червь	90	
Д -добро	4	Δ	Ш -ша		
Е -есть**	5	Ε	Щ -ша		
Ж -живете			Ъ -ер		
З -зело*	6	Ζ	Ы -еры		
З -земля**	7	Ζ	Ь -ерь		
І -и*	10	Ι	Ъ -ять*		
И -иже**	8	Η	Ю -ю		
К -како	20	Κ	Ѡ - (и)я**		
Л -люди	30	Λ	Ѳ - (и)е**		
М -мыслете	40	Μ	Ѧ -юс малый*		
Н -наш**	50	Ν	ѧ -юс большой*		
О -он	70	Ο	Ѩ -юс малый*		
П -покой	80	Π	ѩ -юс большой*		
Р -рцы	100	Ρ	Ѫ -кси*	60	Ξ
С -слово	200	Σ	ѫ -пси*	700	Ψ
Т -твердо	300	Τ	Ѭ -фита*	9	Ϡ
Ѡ -ук**	400		ѭ -ижица*		Υ
Ф -ферт	500	Φ			

ется зеркальным отображением глаголицы (те же по значению и названию буквы, то же их расположение и употребление), однако эта азбука прямо приближена с торжественным (унциальным) греческим письмом. Кому, где и когда потребовалась такая замена одного алфавита другим?

Предполагается следующее. После смерти Мефодия (885 г.) его учеников изгнали из Великой Моравии, и они, забрав книги, отправились к южным славянам, в том числе в Болгарию. Южные славяне, в отличие от моравян, были в сфере византийского

культурного влияния, и они были неплохо знакомы с греческим алфавитом. Видимо, кто-то попытался облегчить усвоение славянской азбуки путем ее сближения с греческой. В кратком (составленном по-гречески) житии Климента, епископа Охридского (умер в 916 г.), того самого Климента — «седмичисленника», одного из членов ученой дружины, сказано, что, перейдя на славянский юг, он «придумал и другие начерки (-формы) букв ради большей ясности в отличие от тех, которые изобрел премудрый Кирилл». Исследователи все еще не пришли к согласию относительно интерпретации этого сообщения, однако если в нем имеется в виду вторая славянская азбука, то агиограф отчетливо понимает, что и почему произошло. Не новая азбука была изобретена, а усовершенствована старая, старым буквам приданы новые формы. Мотив нововведения: большая известность начерков букв. Так возникла «грецизирующая» славянская азбука, на которую впоследствии перешло название кириллицы.

Как и глаголица, кириллица известна с глубокой древности. Древнейший кириллический памятник — Саввина книга (X в.). Кириллицей написана и первая русская датированная книга — Остромирово евангелие (1056—1057). Без резкого перерыва традиции мы, русские, пользуемся кириллицей вплоть до наших дней. Мы же передали ее и другим народам.

Писатель Чингиз Айтматов, поддерживая выдвигаемую советской общественностью мысль о всесоюзном празднике — Дне славянской письменности и культуры, справедливо отметил: «Славянская кириллица сыграла большую роль и в культуре неславянских советских наций, ведь русский алфавит стал сегодня достоянием большинства наций нашей страны. (...) Ныне же мы настолько включились в общую славянскую культуру, что можем считать: славянские ценности — это и наши ценности, некоторые из них (письменность, в частности) рассматриваются как наши истоки».

Не все народы могут с такой отчетливостью увидеть истоки своей книжности, как славяне. Черноризец Храбр не без гордости так заканчивает свой трактат: «Аще ли вопросиши словѣнскыя букаря (если спросить славянских книжников), кто вы (вам) писмена сотворил есть, или книги прѣложил, то вси вѣдят (знают) и отвѣщавше рекут: Святыи Константин Философ, нарицаемый Кирилл, тот пам писмена сотвори и книги прѣложи, и Мефодий брат его. И аще вопросиши, в кое (в какое) врѣмя, то вѣдят и рекут, яко в врѣмена Михаила цесаря гречьскаго, и Бориса, князя болгарскаго, и Растица (Ростислава), князя моравска. ... В лѣта же от создания всего мира 6363 (-855)».

Из монастырских архивов

А. Н. Качалкин,
кандидат филологических наук



При изучении истоков деловой прозы, истории документов мы обращаемся к архивным фондам приказных и земских учреждений, к личным архивам известных людей (см. Русская речь. 1987. № 6; 1988. № 1, 2). Однако знания о зарождении и развитии русского делового письма окажутся заведомо неполными, если не учитывать деловые тексты

церковных учреждений России.

Они существенным образом расширяют (а иногда и определяют) наши представления о быте, материальной и духовной культуре.

Церковь была не только идеологической, но и хозяйственной организацией жителей определенной земли. Церкви принадлежали крестьяне, посадские люди, ремесленники. По интересному и справедливому суждению академика С. Б. Веселовского, «монастырь был не только хозяином своих крестьян и земель, но и судьей и администратором» (Труды по источниковедению и истории России периода феодализма, М., 1978. С. 151). Бытовая сторона жизни этих людей, как и самого духовенства, получила богатое отражение в еще не опубликованных документах монастырей, пустыней, архиерейских домов. Отлаженность хозяйства, толковое ведение делопроизводства были характерны для большинства монастырей. В некоторых из них сформировались богатые архивы.

На чтение и списывание книг монахи смотрели как на богоугодное занятие. Свое отношение к писемному делу они распро-

странья на бумаги административного и бытового характера. *Приходо-расходные, Посевные, Семенные, Ужинные, Умологные, Хлебные, Борошневые* (с описанием имущества), *Таможенные* и другие книги оформлены монастырскими грамотными людьми, как правило, лучше, чем такие же документы в приказных и земских избах. Даже «черные» книги, Памяти, Росписи написаны тщательно, содержат меньше замазанных мест, исправленных слов. В беловых вариантах документов, как правило, нет «черенья и меж строк приписки и скребения» (т. е. подчисток). Гораздо меньше было вероятности, что в черновиках церковных деловых бумаг явятся «непригожие слова», подобные тем, что мог написать приказный подьячий «отведывая пера, хмельным делом, как переписывал набело».

Изучение монастырских документов очень важно в лингвистическом отношении, потому что именно монастыри в ряде случаев давали начало тому или иному городу с его населением и говором. Так, город Кашин обязан своим происхождением Калезинскому монастырю, Устюг — Троицкому Гledenскому, самому древнему монастырю Двинской земли; в состав вотчины Успенского Тихвинского монастыря входил Тихвинский посад, превратившийся в XVII столетии в крупный торговый центр, а с 1779 года получивший права города и переименованный в Тихвин. Монастырские документы — нередко единственный источник для изучения складывавшегося диалекта в период раннего заселения края.

Но и в тех случаях, когда до наших дней дошли бумаги местных приказных учреждений, быт и язык этого края бывают полнее представленными в церковных документах.

К сожалению, до наших дней уцелели лишь немногочисленные фонды. Например, нет старинных документов по Валаамскому Спасо-Преображенскому мужскому монастырю. Возник он предположительно в X веке, по другим данным — в XII веке, но фонды сохранились лишь с 1794 года. Интересно было бы иметь материалы по Ладожскому Покровскому женскому монастырю, созданному в 1619 году, но он имеет документы лишь с 1779 года. Нет ранних документов по деятельности знаменитого Новгородского Спасо-Нередицкого мужского монастыря, основанного в 1197—1198 г. князем Ярославом Владимировичем; памятники его истории имеются в архивах только с 1711 года и т. д.

Много материала дает фонд Монастырского приказа, существовавшего в 1650—1677, а затем в 1701—1725 годах. В нем сохранились разнообразные судебные дела по гражданским искам к духовенству и населению церковных и монастырских вотчин.

Дела эти обычно объемны, жанры документов разнообразны, потому что через Монастырский приказ как центральное учреждение шли дела серьезные, превышающие в иске 20 рублей (по мелким делам жители церковных вотчин судились у своих городских воевод). Этот фонд находится в ЦГАДА, где сохранились материалы преимущественно московских и подмосковных церковных учреждений. В ЛОИИ находятся документы в основном монастырей Севера России.

В общей сложности в центральных и местных архивах сохранились достаточно хорошо фонды 49 монастырей, пяти пустыней, четырех архиерейских домов. Заметим, что пустыни в XVII веке — это уже отнюдь не кельи отшельников или крохотные обители, каковыми они были в древнее время; это обычные, иногда даже крупные церковно-хозяйственные общины, отличающиеся от других монастырей лишь тем, что они были расположены в безлюдных или малонаселенных местах. Некоторые пустыни впоследствии переименовывались в монастыри (и наоборот). От XVII века больше других сохранилось документов по пустыни Нила Сорского (устроенной на берегу озера Селигер) и Мартирьевой Зеленой пустыни в Новгородской земле (впоследствии Троицкий Зеленецкий монастырь).

Среди фондов архиерейских домов наиболее богато представлен Новгородский Софийский (ЛОИИ), сохранивший за XVII век около 600 документов. Этот дом управлял делами обширной епархии и по своей обстановке, числу должностных лиц следовал первым после дома патриарха. Он представлял собой сложное учреждение, в котором хозяйственные, административные и судебные дела велись по подобию московских приказов; в штатах этого дома среди должностных лиц были волостели — для управления вотчинами, десятильники — для сбора податей с духовенства и для суда церковных людей по гражданским делам. Среди его документов особенно полно представлены *Жалованные грамоты* великих князей самому дому и подведомственным ему монастырям (Валаамскому, Юрьеву, Хутынскому и др.). В нем много *Челобитных* от крестьян и бобылей о приеме их в софийские вотчины; *Распросных речей* выходцев из-за «свейского» (шведского) рубежа в софийские волости.

Среди монастырских фондов наиболее ценны собрания рукописей таких древних русских монастырей, как Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году, Успенский Княгинин женский монастырь в г. Владимире, возникший в конце XII века (1198—1200 гг.), Суздальский Покровский женский монастырь, созданный в 1364 году, и другие.

При этом большинство церковных бумаг структурно и по содержанию очень напоминает документы административных мирских учреждений. *Отписки* архиепископов и митрополитов патриарху, подобны, если не тождественны, отпискам местных воевод царю: они в большинстве своем посвящены описанию дел по управлению вотчинами, производимых в монастыре работ, сбора повинностей с крестьян и другого подобного. Естественно, что многие *отписки* касаются дел, связанных с вероисповеданиями, желанием обратиться в православную веру или вернуться в нее. Однако и они зачастую насыщены бытовыми подробностями. Так, *отписки* об отдаче «под начал» вернувшихся из плена «обусурманенных» русских людей передают историю пленения, образ жизни в чужой земле, обстоятельства, способствовавшие возвращению их на родину.

Так же, как и в воеводской приказной избе, здесь есть *Оброчные записи*, *Памяти*, *Порядные* крестьян, различного рода *Записи* на аренду монастырских мельниц, земельных, сенокосных, лесных, рыбных и других угодий, *Поручные записи*, но только не по крестьянам, а по монастырским слугам и тому подобные деловые тексты. Те же, что и в земской избе, *Отпускные письма* крестьянкам на вступление в замужество, но здесь крестьянкам монастырских вотчин. Те же, что и в губной избе, документы о насильственном захвате крестьянами монастырских земель, пожен, леса; *Судные дела* о земле с крестьянами, *Челобитные* об ограблении и нападении разбойников и т. п.

Есть и специфические для церковных учреждений жанры: это *Вкладные*, *Духовные*, *Данные*, по которым монастырям жертвовали в виде «вклада», завещали «по душе», передавали на пожизненное владение поместные и вотчинные земли со всеми угодьями и живущими на них крестьянами, отдавали свое имущество, кабальных людей, ценные бумаги. Ценные вклады знатных лиц в монастыри и церкви постоянно увеличивали церковные владения. Так, князь Одоевский дал в Троице-Сергиевский монастырь «в наследие вечных благ и будущего, ради покоя в прок, без выкупу, по приказу дяди своего, по нем и по жене его» обширную вотчину в Тверском уезде; последний князь Мстиславский отдал Симонову монастырю около 100 деревень.

Люди искали спасения в монастырях не только во время вражеских нападений или стихийных бедствий, но и перед приближающейся старостью. Дело, очевидно, было не только в «наследии вечных благ», но, выражаясь современными понятиями, в пенсионном обеспечении, точнее в самообеспечении, потому что полагалось «за тот ево вклад в монастырь приняти и постричи

и покоити» 1608 г. (ЛОИИ, фонд Спасо-Прилуцкого монастыря, опись 1, № 383, л. 1).

Со временем *Вкладные* стали более подробно перечислять условия жизни в монастыре за определенный вклад: «а похочеть онъ Яковъ в монастыре жить и нам ево припать пить и ести ему в Трапезной с протчими вкладчикъми вместе платья и обутокъ носить казенное черной работы не работать по сено и по дрова не ездить дров не рубить и сена не косить...» 1720 г. (ЦГАДА, фонд Троице-Гледепского монастыря, опись 1(2), № 2294).

Разновидностями Вкладных были *Данницы*, *Отданные*, *Положенные*; название документа зависело от ключевого глагола текста, связанного с передачей имущества в пользу церкви: «Богдан да... Силуян Гавриловы дети Аникеева дали есми всемиловитой Троицы и великомученицы Варвары в дом за долгъ отца своего Гаврила перелог на Мучостровы... *даницу* писал Богданец своею рукою» 1610 г. (ЛОИИ, коллекция 174, II, № 460); «...Давыд Григорев сынъ Лукина *отдал* есми Троицы Живоначальной в дом на поминан(ь)е два лоскута земли горпих орамых за Спирковым подлесным да поженку нижнею за Кур(ь)ею... а *отданую* писал троецкой дячек...» 1576 г. (там же, I, № 354); крестьянин Порфирий Степанов «одписал есми в дом Пречистыя Богородицы... поженю свою долгушную», пока что она оставалась у него, но он обещал в нужное церкви время «на ту поженку купчие и дел(ь)ную *класти* безденежно», прося «за ту поженку поминати родителей моих и матушку мою Парасю а по моей смерти и меша Перфиря поминати же по той *положенной*» 1620 г. (ЛОИИ, коллекция 47, II, № 55).

Монастыри допетровского времени занимали господствующее положение в области просвещения, были центрами грамотности и книжности. В них, особенно в Кирило-Белозерском, часто встречаются *Книгохранительные отписные книги*. Крупные монастыри сами создавали книги. Любопытны составившиеся иеромонахами *Росписи книжной снасти*, в которых перечисляются предметы для изготовления книг, их обложек: «доска оловяная что пояс печатать... стружотъ что книгу обрезать... наугольникъ тройчатой на обе стороны... мехъ что жар роздымать тиски железные подушки на чемъ золото режут» (ЛОИИ, фонд Иверского Валдайского монастыря, опись 2, № 101, л. л. 4—5).

Очень ценным жанром являются *Описные книги* монастырей, где подробно перечисляются не только «всьякие прикълады и золотые и пелены и каменя и жемчюги и свечи поставные и шанданы с налешы и двери царские и сосуды церковные серебряные

и оловянные и покровы и воздухи и на престолах евангелии и животворящи кресты господни и книги и ризы и стихари и патрахили и кадила и папикадила и колокола и всякое церковное строение», но и дается не менее подробная характеристика построек на усадьбе. Это ценнейший источник сведений об архитектуре, убранстве и общем устройстве церковных учреждений на случай возможной их реконструкции.

В фондах монастырей и архиерейских домов хранятся поступавшие туда из церквей *Родословные росписи* крестьян: «Роспис родословная Зиновья Гычева роду сво детям и внучатом и правнучатом хто от него повелся и хто умре и хто в живых» 1683 г. (ЦГАДА, фонд Соловецкого монастыря, опись IV, № 51). Крестьянские родословные имели своей задачей не генеалогические разыскания, а сугубо практические цели: не допускать супружеских отношений между кровными родственниками. После перечисления главы рода, его родных детей, двоюродных, троюродных и иных до седьмого колена родственников делалось примерно такое заключение: «седмое с осмым договорено Федору поять законным браком Агафью себе в жену а от святых купели в восприимство никакова случениа по той родословной росписи нет и не бывало» (ЦГАДА, фонд Устюжского архиерейского дома, опись 2, № 369). На основании Родословной росписи составлялась и отправлялась священнику *Вечная память*, подписанная отцом жениха.

Изучение фондов церковных учреждений дает возможность гораздо полнее, разностороннее представить жизнь наших предков. Неизвестные по другим фондам жанры документов, иные разновидности уже известных жанров позволяют точнее представить картину развития и совершенствования русского делового письма.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«При составлении деловых бумаг у нас возникают споры, как писать — согласно приказа (наряда) или — приказу (наряду)?»

Г. А. Пономаренко, *Кременчуг*

По современным нормам, в деловых бумагах следует писать *согласно приказу, наряду* (дат. п.). Вариант *согласно приказу* (род. п.) считается устаревшим.

Прямая речь истории

А. П. Богданов,
кандидат филологических наук



века и определяющем влиянии исторических сочинений «бунташного столетия» на становление филологической науки в России.

е так давно ученые считали, что русское летописание «угасает» уже в конце XVI века. Сегодня мы можем говорить о его расцвете в конце XVII

Народ должен знать свою историю.

Через книги историков ныне живущий связан со всем человечеством: «Кто и за что похвалился, или осудился, или чем снассся — все писанием, егда бывает прочитаемо, люди вразумляются».

Огромный общественный интерес к истории в канун петровских преобразований отражал рост народного самосознания. Письменная история — это память человечества, его «закопное зеркало», писал Сильвестр Медведев (ученый XVII века), «От него можешь бело-черно знати, И яко тебе будет умирати».

Связь событий русской истории с историей других народов — одна из характернейших черт исторической мысли конца XVII века. Огромную популярность на книжном рынке приобретают различные редакции «Русского хронографа», зачастую доводящего повествование до самых последних событий. Этот интереснейший памятник, в котором с древнейших времен излагались факты всемирной и русской истории, из книги для узкого круга читателей становится достоянием самых разных слоев общества. Создаются его краткие варианты: «хронографцы». Хронографическая часть становится начальной частью множества летописных сводов, исторических сборников, включается в краткие летописцы. Составители, редакторы и переписчики все более учитывают желание читателей видеть российскую историю в контексте мировых

событий, шире привлекают древний и современный зарубежный материал.

Развитое и прежде представление о едипстве человеческой истории, о «единокровности» древних и новых, дружественных и «супротивных» народов, о равенстве всех «языков» широко реализуется в историческом повествовании, охватывающем события обширных регионов Евразии и Северной Африки, учитывающем взаимодействие множества государств и племен. «Книга Василио-логон» ученого, дипломата и писателя Николая Спафария (1636—1708), десятки переводов наиболее значительных польских, итальянских, немецких и других новых книг, все более интенсивное использование достижений античной и средневековой историографии ведет к углублению представлений о мировой истории, о месте, занимаемом в ней русским и другими славянскими народами.

Уже автор «Учения исторического» в 70-х годах XVII века сетовал на отсутствие полной печатной Российской истории, указывая на настоятельную необходимость ее создания. Изданный в 1674 году «Киевский синопсис» свидетельствовал о развитии данного направления: автор (предположительно — ученый Иннокентий Гизель) рассмотрел историю Руси с древнейших времен. Несмотря на большую неполноту повествования, многочисленные переиздания этой книги в конце XVII века расходились мгновенно, и немало любителей истории переписывали «Синопсис» от руки. Значительно возросла популярность созданной в конце XVI века «Степенной книги», поэтапно излагавшей события русской истории, украшенные к тому же интереснейшими рассказами. Переписывались тогда и многие старые сочинения, летописи и летописные своды.

Работы по созданию фундаментальной российской истории широко развернулись в крупных летописных центрах: Новгородском Софийском доме и при дворе патриарха в Москве. На протяжении 70—90-х годов квалифицированные летописцы создали там несколько обширнейших летописных сводов, насыщенных множеством источников и продолженных оригинальными летописями до событий самого последнего времени. Списки и редакции этих сочинений распространялись в рукописях, ибо бурная политическая борьба не благоприятствовала их публикации Печатным двором. Власти хорошо понимали силу исторического слова: недаром Сильвестру Медведеву было поручено написать историю, которая обосновала бы право царевны Софьи на выс-

шую власть в государстве; не напрасно и «петровцы» клеймили своих противников в летописях и исторических записках. На почве истории шло сражение внешнеполитических концепций, борьба между официальной церковью и сторонниками «старой веры», ревнителями просвещения и «мудроборцами», между властью и восставшим народом.

Если сам бог, знающий настоящее, прошедшее и будущее, решил оставить людям знаки своего могущества «в воспоминание», то «кольми паче,— писал историк,— подобает нам содеявния в паша времена кия-либо дела не предавати забвению!»

Ощущение исторической значимости происходящего, бурный рост общественного самосознания, стремление авторов «себе рассуждати» и передать свое мнение «в память предбудущим родам» заставляли многих братья за перо. В конце XVII века в России создаются десятки новых исторических сочинений.

Самые разные люди «подъяша труд велий», чтобы словом запечатлеть быстротекущее время. Известный дипломат московский дворянин Иван Афанасьевич Желябужский вел записки от Московского восстания 1682 года до Полтавской битвы. На далеком Благовещенском погосте, что при реке Ваге, ему вторил скромный дьячок Аверкий. В Москве представители семьи подьячих Шантуровых один за другим продолжали записи о своей жизни и жизни столицы, а в Вологде, Костроме и Ростове год от года дополнялись летописи русской истории, вводя события настоящего в «связь времен».

Патриарший подьячий писал свои записки во время народного восстания в Москве. Не один он делал такие записи, включенные вскоре в крупные сочинения Исихаста и других патриарших летописцев, живописавших «бунт черни». Но тогда же и московский стрелец, участник восстания, изложил на бумаге свою версию событий, ту, что на устах молвы летела по стране, нередко обгоняя грамоты правительства. И летописцам в дальних городах нелегко было разобраться, кто же прав в охватившей столицу социальной борьбе: мы видим в летописях разные мнения, часто исправленные и зачеркнутые, видим, как формировались позиции разных общественных групп.

Для каждой из них история была «законным зеркалом», но зеркалом своим, от других отличным: одним — для горожан, «черных людей», другим — для патриарших и монастырских историков, третьим — для дворян и т. д. В эпоху перелома самостоятельность интересов, потребность самовыражения возрастала во всех сословиях, часто деля их на более мелкие группы. Для московского дворянина Андрея Яковлевича Дашкова история Рос-

сии была прежде всего историей родовитых фамилий, среди которых подчеркнуто выделялись его предки, родичи, сыновья и племянники, наконец, он сам, «всею своею особою». Для летописца знатнейших бояр Черкасских, «первых в воинстве и совете», доказывать их родовитость не было нужды. Он мог размышлять о причинах важнейших политических событий, об ответственности властей за неудачи в войне или народные восстания, называть виновных и раскрывать зловещие тайны двора, без опаски рассуждать о том, о чем всем остальным и думать было страшно. Так же и патриарший казначей Тихон Макарьевский мог более широко и смело взглянуть на события в церкви и государстве, чем простой монах-летописец.

Разумеется, не все имели возможность и усердие писать и продолжать собственную летопись, но принять участие в летописном творчестве могли многие. Чертой времени стало широчайшее распространение кратких летописцев, которые десятки редакторов и переписчиков по всей России переделывали и дополняли по своему вкусу. Большая часть этих рукописей погибла с течением времени в войнах и социальных потрясениях. Но и сейчас мы имеем сотни рукописей, показывающих единство и различие взглядов людей конца XVII века. Живое участие многочисленных авторов, редакторов, переписчиков в историческом творчестве говорит о заметном возрастании значения исторического слова.

Подъем общественного самосознания выразился и волной городского летописания. События в родном городе и крае в контексте истории России становятся предметом самого пристального внимания. В Москве популярный Краткий летописец дополнялся записями о пожарах и эпидемиях, народных восстаниях и строительстве, превращаясь в Краткий московский летописец, который переписывался и снова дополнялся многими жителями столицы. Городское летописание не было замкнуто в крепостных стенах. Оно охватывало всю «землю» города, «что до него потягло». Если в древнем Новгороде летописание продолжало традицию, то в Холмогорах, Нижнем Новгороде, Устюге — воссоздавало ее заново. Новые, оригинальные летописи получают Тобольск и другие города Сибири, летописи ведутся в Астрахани, Казани, Вологде, Ростове, Ярославле. Даже Тамбов, лишь недавно воздвигнутый на южном рубеже (1636), имел своего летописца, который рассказывал о его первых строителях и героях пограничных сражений, о тяготах и радостях жизни пришедших сюда разных лю-

дей, которые к концу XVII века становятся тамбовцами, горячими патриотами своего города.

Многочисленных авторов и редакторов городских и провинциальных летописцев (подьячих, монахов, посадских людей, казаков, сибирских дворян и архангельских мореходов) объединяло главное — любовь к родной земле, ощущение себя на ней не «новопришельцами», но «уроженцами».

Нет в летописцах и следов местничества. Желая оставить потомкам память о своей жизни и свершениях, городские летописцы ни в коей мере не отделяли интересы своего края от интересов всей страны, всего многонационального «российского народа».

Многообразие исторических трудов XVII века было связано с поиском новых, еще более выразительных и широкодоступных форм повествования. Тематически и стилистически связанные летописи и хроники дополнялись повестями о конкретных событиях. Они не просто фиксировали происходящее, но и отражали связь событий, проявляли их причины и последствия. Высокий уровень осмысления фактов, наблюдений, источников характеризует многие труды того времени, такие, как летописное «Сказание» Петра Золотарева или «История» Саввы Романова.

Острота и актуальность исторического повествования заставляла авторов обращать особое внимание на доказательность своих сведений и выводов. Значение вопроса о достоверности источников подчеркнул в своей «Генеалогии» Игнатий Римский-Корсаков. Уже в конце 70 — начале 80-х годов он не только сформулировал критерии достоверности исторических сведений, но и обосновал необходимость точных ссылок на тома и страницы источников. Важность этого вывода историк подчеркнул сотнями ссылок в тексте своего сочинения, который он предварил списком использованной литературы из 65 авторов, от древних греческих и латинских до новых, от Гомера и Аристотеля до Джованни Бокаччо, Эразма Роттердамского и Матвея Стрыйковского.

В 80-х годах в «Созерцании кратком» Сильвестр Медведев обосновал роль историографии в жизни человеческого общества и заявил о праве историка «истинствовать», невзирая на лица. Приведя многие десятки уникальных документов и эпистол, Сильвестр глубоко проанализировал проблему взаимоотношений власти и подданных в современной ему России. В «Известии истинном» он обратился к критике текста источников в связи с

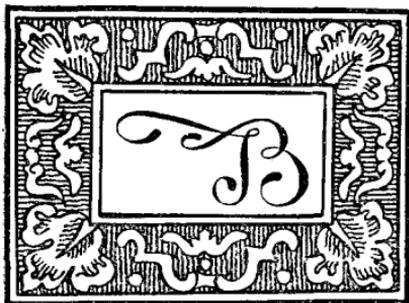
историей работы Государева печатного двора в XVII веке. Казнь Медведева не остановила поступательного движения русской историографии от исторических знаний к науке.

В 1692 году дворянин Андрей Иванович Лызлов завершил в Москве фундаментальную «Скифскую историю» — первую монографию научного типа, высоко оцененную В. Н. Татищевым. Книга содержала оригинальную и во многом верную концепцию многовековой борьбы оседлых народов Европы с кочевниками, была подлинной энциклопедией исторических знаний. Кругозор автора охватывал толщу веков с гомеровских времен до современности, почти всю Евразию и Северную Африку. Система точных ссылок была распространена не только на печатные источники, но и на русские рукописные сочинения. Важно подчеркнуть, что все эти новые элементы исторической литературы были с восторгом встречены читателями: до нашего времени, несмотря на значительные утраты, дошло более 30 списков этой объемистой книги.

Русская историография конца XVII века, как и литература в целом, становилась важной, неотъемлемой частью мысли и культуры самых широких слоев общества. Соответственно менялся и язык исторического повествования. Летописцы и историки, вкупе с ораторами и поэтами далеко продвинулись в создании нового литературного языка, близкого и понятного всему народу, шедшего на смену хорошо послужившему церковнославянскому языку традиционной литературы. Простой, емкий и гибкий, основанный на народной речи язык произведений, обращенных к важнейшим вопросам жизни России, и по сей день не требует перевода. Русские летописи доносят до нас его живое слово. Оно обращено к нам и к нашим потомкам, ко «всем впредь будущим родам».

«Народ безмолвствовал...»

В. П. Козлов,
кандидат исторических наук



Выражение *народ безмолвствовал* с удивительным постоянством использовалось Н. М. Карамзиным в «Истории государства Российского».

В России бытование фразы о безмолвии вообще и народном в частности встречается много раньше. В «Наказе» Екатерины II (1729–1796), данном

Комиссии о сочинении проекта нового уложения, императрица, рассуждая о преступлениях и мере ответственности за них, в полном соответствии с идеологией «просвещенного абсолютизма» заявляла, что «слова не составляют вещи, подлежащей преступлению», что «иногда молчание выражает больше, нежели все разговоры. Нет ничего, чтобы в себе столько двойного смысла замыкало, как все сие».

Мысль о молчании как о двусмысленном и даже оппозиционном отношении к чему-либо со времени екатерининского «Наказа» получает известное распространение в русской литературе. Как своеобразный риторический прием *молчание, безмолвие* начали использовать авторы исторических похвальных слов русским самодержцам — оригинальных историко-публицистических сочинений, переживших в конце XVIII — первом десятилетии XIX века бурный расцвет и столь же стремительный закат (если говорить о той их части, которая была опубликована в тот период).

Но наряду с чисто риторическим использованием *безмолвия* в литературно-публицистических сочинениях ему начинают придавать и вполне определенный смысл. Впервые, как нам кажется, это было сделано учителем философии и красноречия Тобольской семинарии, впоследствии известным сибирским историком П. А. Словцовым (1767–1843). В его смелых словах — «Тишина народная есть иногда молчание принужденное, продолжающееся дотоле, пока неудовольствия, постепенно раздражая общественное мнение, терпение, не прервут оного» (1793) — власти не без основания увидели проявление вольнодумства. Словцов был сослан, но после ссылки в похвальном слове царю Ивану Грозному,

(СПб., 1807) он вновь, хотя и в менее острой форме, возвращается к теме о *народном безмолвии*. Рассуждая о «неоспоримых признаках благосостояния народов», он исключает из их числа «тишину народную», отмечая, что «она часто значит мертвое безмолвие поваленной гробницы».

До работы над «Историей государства Российского» Н. М. Карамзин неоднократно упоминал *безмолвие* народа в своих историко-публицистических произведениях. Однако значение этого выражения не выходило за рамки образного художественного средства, подчеркивающего или беспомощность людей перед природной стихией, или страх перед лицом реальной политической и военной силы, или даже «великодушную» терпимость, то есть вполне осознаваемую народом «необходимость повиновения» закону самому самодержцу-тирану.

Однако в «Истории» «безмолвие народа», превратившись в рефрен, наполняется более широким и разнообразным содержанием. Помимо смысловой нагрузки, он становится и важным творческим приемом Карамзина. Но прежде чем показать место и роль рефрена о народном безмолвии в труде историографа, целесообразно остановиться на содержании, которое вкладывал Карамзин в понятие *народ*. В «Истории» довольно часто оно встречается в значении «жители страны, государства». В этом же смысле в качестве синонимов Карамзин использует слова *граждане* и *россияне*. Но помимо такого, довольно распространенного в конце XVIII — первой трети XIX века, словоупотребления, в труде Карамзина обнаруживаются существенные нюансы, символические с точки зрения его приемов работы. Поясним это несколькими примерами.

Описывая новгородские события 1474 года, Карамзин сообщает, что казнь Дмитрия Борецкого и его товарищей «сделала глубокое впечатление как в народе, так и в чиновниках». В 1495 году Иван III прибыл в Новгород, где его встречали «святитель (архиепископ Геннадий.— В. К.), духовенство, чиновники, народ». После смерти старшего сына Ивана III «двор, вельможи и народ» были обеспокоены вопросом о престолонаследии. В 1500 году, после известия о победе русских войск при Ведропи, «государь, бояре, народ» изъявляли радость. «Бояре и народ» остались равнодушными к смерти Елены Глинской. «Народ не давал пути ни духовенству, ни вельможам» в 1560 году после смерти царицы Анастасии. «Бояре вместе с народом» выражали беспокойство после отъезда Ивана Грозного в Александрову слободу. Бориса Годунова просили стать царем «духовенство, синклит, народ». «Духовенство, бояре, воинство и народ» потом вновь обращаются к нему с этой же просьбой и т. д.

Из этих примеров видно, что в понятие *народ* Карамзин не включал духовенство, боярство, войско и государственных чиновников.

Народ присутствует в «Истории» как зритель или непосредственный участник событий. Однако в ряде случаев это понятие не во всем удовлетворяло Карамзина, и он, стремясь точнее и глубже передать свои идеи, использует термины *граждане* и *россияне*.

Граждане нередко фигурирует в труде историографа как «жители города». Так, например, после покорения Новгорода в 1471 году туда устремляются из московских волостей «граждане и жители сельские». Однако в целом понятие *граждане* Карамзин также подчиняет своей исторической концепции. Им историограф объединяет различные категории феодального населения, в том числе и зависимого, тем самым торжественно провозглашая наличие прав и обязанностей у каждой из таких категорий в соответствии с их положением в общественной иерархии. С этих позиций не только крепостные, но и холопы с XVI века наделялись у Карамзина «правами гражданскими». В таком смысле понятие *граждане* оказывалось шире понятия *народ*, совпадая с еще одним, часто используемым, — *россияне*.

Помимо его общеупотребительного значения («жители России»), Карамзин придает слову *россияне* еще и такой смысл, который помогает определить отношение подданных к самодержавной власти. Например, объясняя смысл слова *холопы*, Карамзин пишет, что оно «изображало только неограниченную преданность россиян к монарху». В других случаях «россияне славилась тем, чем иноземцы укоряли их: слепую, неограниченную преданностью монаршей воле...»; несмотря на тиранию Ивана Грозного «великодушные еще действовало в россиянах», «россияне искренно славили царя», «россияне не могли благоразумно верить воскресению царевича Димитрия, «многие и самые благоразумнейшие из россиян» вскоре разочаровались в Борисе Годунове и т. д.

Несколько иной оттенок приобретает значение слова *россияне*, когда писатель прибегает к нему, давая оценку событиям, имевшим общенациональное значение, размышляя о судьбах государства: «Какая победа в древние и новые времена была славнее Донской, где каждый россиянин сражался за отечество и ближних»; «Сколько веков россияне не могли живо увериться в том, что соединение княжений необходимо для их государственного благоденствия». В 1571 году под Москвой в сражении с войском хана Девлет-Гирея «россияне стояли за все, что еще могли любить в жизни: за веру, за отечество, родителей и детей» и т. д.

Таким образом, у Карамзина понятия *народ*, *граждане*, *россияне* отражают своеобразные авторские приемы, которыми историограф старался оттенить, сделать более выпуклыми свои представления па русский исторический процесс. Это находит подтверждение и в использовании писателем еще одного понятия — *чернь*. Это слово присутствует в «Истории» Карамзина не столько в общеупотребительном для того времени смысле («простой народ»), сколько в ином: историограф придает ему откровенно политическую окраску. Так, при описании движений классового протеста угнетенных народных масс Карамзин замечает: «Чернь Нижнего Новгорода вследствие мятежного веча умертвила многих бояр», «чернь в шумном совете» решает укрепить Москву перед угрозой ее захвата в 1445 году войсками хана Улу-Махмета; в 1584 году во время восстания в Москве к Кремлю устремились «двадцать тысяч вооруженных людей, чернь, граждане, дети боярские», в восстании 17 мая 1606 года действуют «дворяне, дети боярские, стрельцы, люди приказные и торговые, граждане и чернь».

В пренебрежительном наименовании Карамзиным части народа *черню* нашло свое отражение его представление о мощных движениях классового протеста в феодальной России как проявлении всего-навсего анархических элементов, порожденных, по его убеждению, «страстями человеческими». Народу, пишет он, всегда присуще стремление к вольности, несовместимое с государственными интересами. Поэтому самодержавие, уничтожая остатки древних народных свобод, подавляя буйство «черни», выполняло свою прогрессивную историческую миссию — укрепляло внутреннее и внешнее могущество государства.

Отрицая, таким образом, прогрессивное политическое значение народа в истории России, Карамзин делает его в своем труде высшим носителем оценок, замыслов и деятельности представителей самодержавной власти. В труде историографа народ становится то беспристрастным арбитром, особенно когда речь идет о борьбе самодержавия с аристократией и олигархией, то пассивным, но заинтересованным зрителем и даже участником, когда волею исторических судеб оказывается сам лицом к лицу с самодержавием. В этих случаях присутствие в «Истории» народа становится важнейшим творческим приемом Карамзина, средством выражения его авторского отношения к происходящему. В повествовании летописца врывается голос историка, сливающийся с «мнением народным».

«Мнение народное» как своеобразный риторический прием не было изобретением Карамзина или во всяком случае использова-

лось не только им. Ссылки на него являлись одним из элементов идеологии «просвещенного абсолютизма». Уже в «Наказе» Екатерины II мы читаем: «Правда, что хорошее мнение о славе и власти царя могло бы умножить силы державы его...». Более того, здесь же широковещательно и вполне серьезно провозглашалось право любого в самодержавной России «свободно говорить свое мнение». О том, насколько своеобразно понимала Екатерина II «свободу мнения», хорошо известно, но важно, что ссылки на «мнение народа» в качестве критерия оценок событий прошлого и настоящего с тех пор получают известное распространение, превращаясь даже в банальность.

О «народном мнении» неоднократно говорит в своих ранних историко-публицистических сочинениях и Карамзин.

Однако в «Истории государства Российского» народному мнению Карамзин придает широкие смысловые значения. В первую очередь их спектр лежит в плоскости народных чувств — от любви до ненависти к самодержцам. «Нет правительства, которое для своих успехов не имело бы нужды в любви народной», — провозглашал историограф. В его труде «народ любит», например, Владимира Мономаха, Александра Невского, Дмитрия Донского, «читит» Василия Дмитриевича, Федора Ивановича. Любви народа *добиваются* Федор Иванович, Борис Годунов и т. д. Несчастливы те самодержцы, которых народ не любит или которые утратили эту любовь. Так, например, Мстислав и Ярополк, «неопытные в деле государственного правления», вскоре лишаются народной любви. «Не был любим народом» Давид Ростиславич, «москвитяне» «не были совершенно довольны» Иваном III, который перед угрозой ханского нашествия трусливо отправил свою семью из столицы, «не доставало народу» любви и к Ивану Грозному.

Любовь народа к самодержцу как высший критерий оценки его поступков и одновременно сила, способная решать судьбу монарха, особенно сильно звучит в последних томах «Истории». Так, Борис Годунов, несмотря на все свои усилия, «не снискал любовь народа» и в конце концов оказался без его поддержки в трудный для себя момент борьбы с Лжедмитрием. Оставляя небу судить тайну Борисова сердца, отмечал Карамзин, «россияне искренне славилы царя, когда он под личиною добродетели казался им отцом народа, но признав в нем тирана, естественно, возненавидели его и за настоящее и за минувшее...». В аналогичном положении вскоре оказывается и царь Василий Шуйский: «Москвитяне, некогда усердные к боярину Шуйскому, уже не любили в нем венецносца, приписывая государственные злополучия его неразумению или несчастию — обвинение, равно важное в глазах народа».

В «Истории» Карамзина отношение народа к самодержавной власти передается широким разнообразием слов, означающих различные чувства, действия, мысли: народ «жаловался громогласно», «народ жалел», «народ смеялся», «изъявил удовольствие», «плакал от умиления», «жалел о певчих, проклиная ласкателей», «опомнился, утих и с беспокойством ждал...», «изъявил радость», «живо чувствовал спасительный ужас законов для обуздания преступников», «с жадностью слушал» и т. д. Можно сказать, что в «Истории» чувственный, действенный и звуковой фоны постоянно сопровождают народ. С их помощью Карамзин свои концептуальные историко-политические идеи облекал в эффектную художественную форму — описание событий превращалось в бурное театральное действие, дающее возможность читателю зримо представить их.

Безмолвие народа на фоне этих действий, чувств, звуков выступало резким контрастом. Оно вовсе не означало бесстрастного молчания, недоговоренности. Наполняясь каждый раз вполне определенным смыслом, к пониманию которого подводило само повествование, становилось важным авторским приемом, помогающим писателю выразить свое отношение к описываемым событиям, свои представления о народе и самодержавцах.

Народ в «Истории» *безмолвствует* от ужаса. Так было, считает Карамзин, например, при обращении в христианство пермяков. Иногда *безмолвие народа* означало его бессилие, безысходную покорность, горечь от утраты древних свобод.

Безмолвие народа характеризует его нерешительность, отсутствие у него (подчас в важные исторические моменты) ясной цели действий. Так, например, рисует Карамзин отношение народа к переходу на сторону Лжедмитрия воеводы Басманова.

Народ безмолвствует, демонстрируя свое равнодушие, особенно когда идет речь о борьбе самодержавия с аристократией. Так представляет Карамзин события 1475 года, когда Иван III арестовывает двух новгородских бояр, обвиняя их в сношениях с Литвой. *Безмолвием народа* Карамзин передает и осуждение несправедливых поступков самодержцев.

Народ безмолвствует, демонстрируя примеры мужества и преданности. Это Карамзин показывает в поступке слуги опального князя Курбского, привезшего Ивану Грозному письмо от своего господина: «Гневный царь ударил его в ногу жезлом своим — кровь лилась из язвы, слуга, стоя неподвижно, безмолвствовал».

Народ безмолвствует, по Карамзину, «в грозах самодержавия», демонстрируя одно из своих величайших качеств национального характера — терпимость.

В последних томах «Истории» Карамзин раскрывает еще один смысл народного безмолвия. Говоря о нем при описании правления Елены Глинской, историограф прямо связывает *безмолвие* с «ненавистью и презрением, от коего ни власти, ни строгости не спасают венецосца, если святая добродетель отвращает от него лицо свое...». В последующих томах эта мысль получает дальнейшее развитие: молчание народа «служит явной укоризной» для Бориса Годунова и, наконец, превращается в знак «тайной, всегда опасной ненависти к жестоким правителям», символом грозной готовности «к великой перемене, тайно желаемой сердцами».

Таким образом, рефрен о безмолвии народа оказался удачной находкой Карамзина, позволившей ему использовать его в качестве художественного, драматургического средства выражения одной из своих важнейших политических идей в целом и исторической концепции в частности — идеи «обратной связи» народа и самодержавия, с одной стороны, и средства авторской оценки исторических событий — с другой. Карамзинский рефрен полифоничен, многогранен. В нем отгадываются не только те черты национального характера русского народа и его действия, которые соответствовали монархическому мировоззрению историографа (покорность, терпимость, равнодушие, нерешительность), но и мужество, патриотизм, осуждение тирании, несправедливых действий самодержцев.

Неоднозначность смысла карамзинского рефрена была подчеркнута и использована А. С. Пушкиным в «Борисе Годунове». Его знаменитая ремарка включает сложный спектр чувств и переживаний народа: и ужас перед явным преступлением царя Бориса, и горечь от содеянного клеветами Лжедмитрия, и бессилие, и нерешительность, и равнодушие, и в то же время осуждение, первые ростки ненависти, скрытую до поры силу народного гнева.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Как правильно назвать жителей Брянска и Бреста?»

В. Н. Благодарова, г. Артемовский, Свердловской обл.

Жители Бреста — брестчане (брестчанин, брестчанка), брестцы (брестец), брестовчане (брестовчанин, брестовчанка). Устаревшее название — брестяне (брестянин) и берестяне (берестянин).

Жители Брянска — брянцы (брянец), брянчане (брянчанин, брянчанка). Об этом Вы можете прочесть в Словаре названий жителей СССР, под редакцией А. М. Бабкина и Е. А. Левашова (М., Русский язык. 1975).



Добрыня-змееборец

С. Н. Азбелев,
доктор филологических наук

В эпоху, отдаленную от нас тысячелетием, предки великороссов, украинцев и белорусов, будучи еще единым народом, осваивали огромные просторы Восточной Европы: пахали землю, строили города и обороняли свою Родину от грабительских набегов воинственных соседей. Это было «эпическое время» былин. В блестящую эпоху Киевской Руси жили исторические прототипы главных былинных героев, были совершены подвиги, воспевавшиеся на протяжении многих веков. Позже в народном эпосе отобразилась борьба против татаро-монгольского ига и некоторые другие события, однако образы главных героев былин восходят, в основном, к более ранней поре. Сам же былинный эпос сохранился главным образом в его интерпретации сказителями Новгородской земли: здесь и в местах, куда переселялись выходцы из нее, произведены почти все записи былин. Многие из них передают сохраненные в языке сказителей черты говора древних повгородцев:

Говорят они да таковы речи:
 «Не потухло у нас да красно солнышко,
 Не закрыло у нас да туцёй тёмною,
 Не убили-то татары царя белого
 Ишше князя-та всё света Владимира!

Беломорские былины, записанные А. Марковым

Говоря об исторических прототипах народного эпоса, следует иметь в виду условность применения здесь слова *прототип*. Образы эпических персонажей создавались постепенно, при этом порой наслаивались, изменяясь со временем, народные впечатления о деятельности не одного, а ряда исторических лиц. Так, например, прототипом былинного князя Владимира был не только знаменитый Владимир Святославич Киевский (умер в 1015 г.), но и его правнук Владимир Мономах, а отчасти — и некоторые из позднейших князей, носивших имя Владимир.

Образы же богатырей, подлинных героев эпоса, основаны на пародных художественных обобщениях. При этом дошедшие до нас былины в той или иной степени восходят к песням и сказаниям о подвигах исторических лиц, известных по летописям.

Сами певцы верили в историческую правдивость былины. Художественная правда не была отделена в народном сознании от правды исторической. Для былины важна сама сущность воспетого подвига, его нравственный и общеполитический смысл:

Тут богатыри сидят во белом шатре:
 «Поедемте, братцы, отстаивать Киев град,
 Не для-ради князя Владимира,
 Не для-ради княгини Апраксии,
 А для бедных вдов и малых детей!»
 Добры молодцы собиралися,
 Садилися по своим добрым коням...

Песни, собранные П. В. Киреевским

Народ воспевал реальные подвиги и подлинные события. Вместе с тем дошедшие до нас былины часто полны бросающегося в глаза несомненного вымысла. Например, богатырь, будучи еще младенцем, просит вооружить его:

Пеленай меня, матушка,
 В крепки латы булатныя,
 А на буйну голову клади злат шелом,
 По праву руку — палицу,
 А и тяжку палицу свинцовую,
 А весом та палица в триста пуд.

В десятилетнем возрасте он научился

Обвертоваться ясным соколом,

.....

Обвертоваться серым волком,

Обвертоваться гнедым туром-золотыя рога.

Древние российские стихотворения, собранные Кириешю Даянловым

Дело в том, что в эпоху, когда былины создавались, в среде народных сказителей бытовали еще более древние эпические произведения, имевшие мифологические корни. В обширной Новгородской земле, слабее охваченной процессами феодализации и христианизации, расположенной вдали от областей, втянутых в интенсивную политическую деятельность, лучше, очевидно, сохранялся древнеславянский эпос, создававшийся при господстве мифологических представлений. Он не только включал повествования о столкновениях с мифическими персонажами, но и отражал первобытные представления об огромной физической силе древних героев, приписывал им волшебство, общение с потусторонним миром и т. д.; к мифологическим истокам восходят образы героя-оборотня, огнедышащего многоголового змея и некоторые другие.

Когда общий характер подвигов, воспетых такими эпическими сказаниями, оказывался сходен с подвигами героев Киевской Руси, песни и рассказы о них могли соединяться с этими древними сказаниями при создании дошедших до нас былин. В таких случаях изменялась не только форма, но и содержание: историческую реальность во многом замещал стихийный художественный вымысел.

Добрыня Никитич (сказители нередко его называли ласково *Добрынюшка*) — один из самых любимых народом богатырей. Былина о Добрыне-змеборце — одна из самых распространенных в русском эпосе, собиратели фольклора записали больше ста вариантов ее. Но основное содержание довольно стабильно: богатырь едет к реке, около которой обитает в горах летающий огнедышащий Змей; во время купания Добрыни Змей нападет на безоружного, но богатырь побеждает; враг просит пощадить его, и Добрыня соглашается на условия, что Змей не будет захватывать русских пленников; но противник вскоре это условие нарушает: он захватил и унес к себе родственницу самого князя Владимира (в былине она обычно названа его племянницей *Забавой Путягичной*, но встречаются и другие имена — см. ниже); князь посылает Добрыню на бой со Змеем; богатырь его снова побеждает — уже окончательно, выручает из его пещеры родовитую пленницу и других узников. Нередко говорится только об одном бое и освобождении богатырем тех, кто томился в плену у Змея. Хотя варианты и редакции былины различаются, Добрыня пред-

стает здесь в основном не только как победитель опасного врага, но и как герой-освободитель:

А подпоры он железный откидывал,
Да й затворы-то он медный отдвигивал,

А й во тых порах да во зменных
Много мпожество да полонов сидит,
Полона сидят да все расейскии.

Говорил Добрыня таковы слова:
«Ай же полона вы расейскии!
Выходите-тко со нор вы со зменных,
А й ступайте-тко да по своим местам,
По своим местам, да по своим домам».

Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом

Змей — персонаж сказочно-мифологический; он присутствует в устной поэзии многих народов. Есть он и в русских сказках. И эти сказки и былина восходят к древнеславянским мифическим сказаниям. Но образ богатыря Добрыни исследователи давно связывают с историческим лицом. Это хорошо известный по летописям брат Малуши — ключницы княгини Ольги, — дядя князя Владимира Святославича. Соответственно, в самой былине видели не только некое эпическое обобщение, но и следы конкретной исторической основы.

Сам по себе древний змеборческий мотив обладал чрезвычайной смысловой «емкостью». По разным побудительным причинам змеборцами становились герои целого ряда народных эпосов. Из близких примеров достаточно напомнить древнескалдинавского Сигурда, англосаксонского Беовульфа, южнославянского Марко Кралевича.

В Киевской Руси змей был символом внешнего врага. Исследователи не раз обращали внимание на миниатюру русской летописи, иллюстрирующую рассказ о победе над половцами в 1112 году: русский воин поражает копьём змея (Радзивилловская или Кенигсбергская летопись). М. И. Артамонов обоснованно поставил в связь с этим рисунком и с былинным образом Змея рассказ «Повести временных лет» о другой победе над половцами — в 1103 году, — после которой Владимир Мономах назвал половецких князей «главы змиевы» (Артамонов М. И. Миниатюры Кенигсбергского списка летописи. — Известия ГАИМК. Т. 10. Вып. I. Л.). Хотя еще А. А. Шахматов отметил, что летописец точно процитировал здесь устами Мономаха слова из Библии — «скруши главы змиевыя...», но при этом он все же имел в виду, несомненно, гибель ряда реальных половецких князей — врагов Руси. Добавим,

что другой летописец позднее эти же слова вложил в уста другого русского князя Владимира Глебовича Переяславского — по аналогичному поводу: в связи с победой над степняками в 1185 году (Полное собрание русских летописей. Т. 1).

Д. С. Лихачев не без оснований характеризовал борьбу Добрыни со Змеем как художественное обобщение, отобразившее оборону русских людей от степняков, которые своими набегами разоряли страну и уводили полон [Лихачев Д. С. Народное поэтическое творчество времени расцвета древнерусского раннефеодального государства (X—XI вв.). — В кн.: Русское народное поэтическое творчество. Т. 1. М.—Л., 1953]. Патриотический мотив этого былинного сюжета — освобождение пленников вероломного врага Русской земли — долго оставался актуальным.

Сложение былины, использовавшей древнеславянские мифологические сказания о змеборстве, очевидно, опиралось на предшедшие до нас конкретно-исторические предания или песни о деятельности реального Добрыни. В. П. Аникин обратил внимание на то, что *Сорочинские горы*, в которых обитает былинный Змей, можно соотнести с последними отрогами Урала в Самарском крае, где находилась древняя крепость — село Сорочинское; здесь некогда жили волжские булгары, а в зачинах былин, посвященных Добрыне, даже и Волга бывает упомянута в связи с Сорочинскими горами (Аникин В. П. Былины. Метод выяснения исторической хронологии вариантов). Например:

Повышла, повышла, повыкатила
Наша славная матушка быстра Волга-река,
Много она рек и ручьей побрала.

.....
Долгие плеса Чижиковския,
Высокия горы Сорочинския,

.....
А устьев ровно она семьдесят дала
Во славное морё во Персидское.
Это ведь Добрынюшки не сказочка.

Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом

Или несколько иначе:

Она много matka Волга в себе рек побрала,
Побольше того она ручьёв пожрала,
Давала плеса она Далінские,
А горы-долы Сорочинские...

Там же

После разгрома князем Святославом Хазарского каганата (в 965 г.) усилилось подчинявшееся ему раньше государство волжских булгар. В X веке здесь был центр работорговли; сюда при-

возили для продажи захваченных пленников. Насколько опасным этот сосед был для Руси, видно из того, что только за 20 лет (с 977 по 997 г.) летописи упоминают о четырех военных столкновениях. Согласно «Повести временных лет», в 985 году русские одержали победу, но по совету участвовавшего в походе Добрыни князь Владимир «створи мир» с сильным противником. Однако позже упомянуто еще два победоносных похода в землю волжских булгар.

Таким образом, не только первая встреча былинного Добрыни с его эпическим противником, но и вторая может иметь соотнесенность с реальными обстоятельствами биографии Добрыни исторического.

В некоторых вариантах былины иначе, чем в большинстве их, названо имя пленницы, которую освободил Добрыня,— *Марфида Всеславьевна* (или сходно: *Мария Изяславна*, *Марья Дивовна* и др.), причем в этих случаях обычно говорится, что она приходится родной теткой Добрыне. Такие записи былины сделаны в удаленных друг от друга местах, сами тексты значительно различаются. Поэтому упомянутые особенности нельзя объяснить поздней новацией, а естественнее, напротив, возводить их к древнейшей редакции былины. А. А. Шахматов высказал обоснованное предположение, что здесь упомянута Малфрид, о смерти которой коротко сообщает «Повесть временных лет» (Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах). Соображения А. А. Шахматова и данные одного из недошедших до нас источников «Истории» В. Н. Татищева заставляют полагать, что историческая Малфрид действительно была в семейном родстве или свойстве с историческим Добрыней.

Несомненно, что некогда существовало много разного рода сказаний, связанных с деяниями исторического Добрыни. Одним из них было участие в христианизации Новгорода по поручению князя Владимира. Принудительное крещение не могло стать предметом народного прославления. Но позднее христианство стало знаменем обороны от агрессивного натиска язычников — степняков, еще позже — знаменем народной борьбы за освобождение Русской земли от владычества ханов Золотой Орды. Эпический Змей естественно воспринимался не только как символ внешнего врага, но и как символ язычества. Этим обусловлены и популярность народного стиха о змеборце Егории — водворителе христианства, — и воздействие на былину о Добрыне и Змее сказаний о христианизации Руси.

Известная нам в передаче В. Н. Татищева Иоакимовская летопись рассказывала, как Добрыня вместе с тысяцким Путятой

вел в Новгороде вооруженную борьбу против язычников; это породило даже пословицу: *Путьяга крести мечом, а Добрыня огнем* (Татищев В. Н. История Российская. Т. 1). Это же позволяет объяснить, почему имя княжеской племянницы *Забавы Путьягины* — героини былины, посвященной женитьбе Соловья Будимировича, — перешло в былину о змеборстве Добрыни. Название реки *Почайны*, около устья которой в Днепре крестили киевлян, породило название *Пучай-река*, в которой купался былинный Добрыня-змеборец:

Говорит Добрынюшка Микитинич:
«Посылают меня, матушка, в землю Сорочинскую,
Во ту землю на Пучай-реку»...

В этом варианте, как и в некоторых других, купание богатыря осложнено запретом, связанным с мотивом крещения, — находящиеся у реки предупреждают его:

«Ай же ты Добрынюшка Микитинич!
У нас не купляться во Пучай-реки нагим телом,
У нас купляться во Пучай-реки во рубашечках».
Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом

Б. А. Рыбаков не без оснований писал, что былина о Добрыне-змеборце отображает победу над язычеством, над жестокими элементами культа богов, требовавших человеческих жертв: огненная сущность былинного Змея сопоставима с пламенем жертвенника Перуну — тем более, что сам Перун в позднейшем народном предании отождествлялся со змеем; пленники, находившиеся в горах у Змея, могли ассоциироваться с людьми, предназначенными для жертвоприношений, которые совершались некогда на киевской Горе и т. д. (Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи).

Таков двуединый исторический смысл художественного образа змеборца в русском эпосе.

Ленинград

Рисунок В. Леонова

Судьба слова *прогресс*

Е. И. Корякозцева,
кандидат филологических наук



ольшинству людей, говорящих по-русски, слово *прогресс* известно в значениях «движение вперед в развитии чего-л.» и «успех». И лишь специалисты по лексикологии русского языка XVIII века знают, что в Петровскую и послепетровскую эпохи оно употреблялось как военный термин в значениях «наступление, продвижение войск вперед» и «выигрыш, успех в военных действиях».

У О. Н. Трубачева есть интересное замечание о том, что углубленное понимание современного значения слова — это тем самым его реконструкция (см. его статью «Реконструкция слов и их значений» — Вопросы языкознания, 1980. № 3). Воспользуемся этой мыслью ученого-этимолога, задумаемся над современным значением слова *прогресс* во взаимосвязи с его ныне забытыми значениями «наступление» и «выигрыш, военный успех». Общее в значениях «движение вперед в развитии чего-л.» и «наступление» очевидно — «продвижение вперед». Это основное значение латинского *progressus* — существительного, образованного от глагола *progredire* «идти вперед».

Человеческая логика обычно связывает продвижение вперед с удачей, успехом. Этим, видимо, и объясняется появление у латинского *progressus* переносного значения «успех». Связь значений «продвижение вперед» и «успех» имеет причинно-следственный и одновременно оценочный характер.

В значениях «продвижение вперед» и «успех» латинское *progressus* было заимствовано большинством западноевропейских языков, однако только во французском оно развило военные терминологические значения «наступление» и «военный успех, победа».

Русским языком военный термин *прогресс* заимствован непо-

средственно из французского в начале XVIII века. Он часто встречается в дипломатической переписке, воинских реляциях, деловых бумагах первой половины XVIII столетия. Так, в 1713 году Петра I поздравляли «со счастливыми прогрессами» (победами) его армии. В протоколах Верховного Тайного совета за 1726 год отмечалось, что русское войско в состоянии «прогрессы (наступления) учинить» против турок и персов, нарушивших имперские границы в Закавказье вопреки русско-турецкому договору 1724 года.

Ряд примеров употребления слова *прогресс* в значениях «наступление» и «военный успех, победа» может быть продолжен. Однако материалы картотеки Словаря русского языка XVIII века свидетельствуют, что в последней трети столетия вытесняемое исконными *наступление* и *победа*, слово *прогресс* все реже употребляется как военный термин. Это закономерно: язык борется с избыточностью, создаваемой тождественными по значению синонимами. Предпочтение исконных слов *наступление* и *победа* заимствованному *прогресс* объясняется двумя причинами: во-первых, заимствованное слово было многозначным; во-вторых, в конце XVIII века набирала силу тенденция к очистке русского языка от иноязычных слов.

Утратив свои «военные» значения, к началу XIX века слово *прогресс* употреблялось лишь в значении «успех». Однако ему было суждено «второе рождение» в русском языке: в 30-е годы XIX века оно вторично, уже как философский термин, заимствуется из французского языка (см.: Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века). Новое терминологическое значение французского *progrès* — «движение вперед в развитии (общества, наук и т. д.)» — сформировалось, вероятно, под воздействием идей Великой французской революции, пробудившей общественное самосознание. Их влияние было велико и в России. Показательно, что передовыми философами того времени прогресс общественного развития связывался не с простым развитием науки и техники, а прежде всего с ростом гуманистического начала в обществе.

К 40-м годам XIX века слово *прогресс* в новом значении «движение вперед в развитии общества, наук и т. д.» закрепилось в общественно-политической терминологии. И... стало объектом преследования. Александр II наложил запрет на его употребление в официальных бумагах.

Вернооподданнически настроенные радетели «чистоты русского языка» по-своему боролись против слова *прогресс*. Ими выдвигались аргументы в пользу его ненужности. С опровержением этих

аргументов выступил В. Г. Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Он тонко подметил такие оттенки значения слова, которые не могли быть выражены ни одним русским синонимом к нему, и дал глубокое толкование. «Говорят, для понятия слова *прогресс* не нужно и выдумывать нового слова, потому что оно удовлетворительно выражается словами *успех, поступательное движение* и т. д. С этим нельзя согласиться. Прогресс относится только к тому, что развивается само из себя. Прогрессом может быть и то, в чем вовсе нет успеха, приобретения, даже шагу вперед; и напротив, прогрессом может быть иногда неуспех, упадок, движение назад. Это именно относится к историческому развитию».

Чем была вызвана кампания протеста против нового значения слова? Ответ находим опять-таки у Белинского: «Есть еще особенный род врагов *прогресса*,— это люди, которые тем сильнейшую чувствуют к этому слову ненависть, чем лучше понимают его смысл и значение. Тут уже ненависть собственно не к слову, а к идее, которую оно выражает, и на невинном слове вымещается досада на его значение» (там же).

Невзирая на противодействие властей и ревнителей «чистоты русского языка», слово *прогресс* прочно вошло в русский лексикон. В 60-е годы XIX века Словарь В. И. Даля регистрирует *прогресс* в значении «умственное и нравственное движение вперед; сила образования, просвещения». Закрепившись в русском языке, слово *прогресс* стало употребляться также и в расширительном значении «развитие» и в этом значении послужило производящей базой для глагола *прогрессировать*. В словообразовательном гнезде слова *прогресс* появились также и другие производные: прилагательное *прогрессивный*, существительные *прогрессивность*, *прогрессист*, *прогрессизм*.

В начале XX века этими словами, извращая их истинный смысл, политические реакционеры именовали явления, ничего общего с прогрессом не имеющие. Так, партия контрреволюционной либерально-монархической буржуазии, проповедовавшая единение с царем, объявила себя *прогрессивной*, своих членов — *прогрессистами*, их взгляды и настроения нарекла *прогрессизмом*. Выхолащивались значения производных слова *прогресс*, компрометировалась сама идея прогресса.

Прекрасно осознавая тесное взаимодействие слов и понятий, В. И. Ленин дал убийственно-точную характеристику прогрессистов и их политической платформы в работе «Итоги выборов»: «А что такое *прогрессисты*?»

И по своему составу и по своей идеологии, это — *помесь ок-*

тябристов с кадегами... Прогрессисты осуществляли в практической политике то, что проповедовали в теории «Вехи», оплевывая революцию, отрекаясь от демократии, прославляя грязное обогащение буржуазии, как божье дело на земле, и т. д. и т. п.» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 327).

В ленинской характеристике названия реакционной партии, ее членов и их политических убеждений были решительно отделены от идеи общественного прогресса, который марксистами связывался с революционным переходом от капитализма к социализму. Показательно, что в большевистской литературе и прессе слово *прогресс* ассоциировалось с социалистической революцией.

В русском языке послеоктябрьского периода судьба слова *прогресс* обуславливается развитием понятия, им обозначаемого. В советскую эпоху содержание этого понятия углубляется и усложняется, поскольку прогресс общественного развития определяется уже единством высокого гуманистического начала в обществе и передовой науки (техники). По всей видимости, именно широта и многоплановость понятия *прогресс* стали причиной употребления соотносительного с ним слова в составе целого ряда устойчивых сочетаний: *социальный прогресс, нравственный прогресс, технический прогресс, научно-технический прогресс.*

Грозный

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

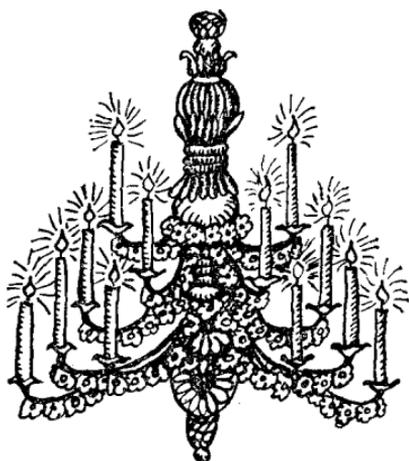
«Почему в газетах встречается разночтение: в одних пишут „внештатный корреспондент“, в других — „нештатный“? Как правильно?»

И. Быстрова, Москва

Эти слова одинаковы по смыслу. Слово *нештатный* отмечено еще в Словаре В. И. Даля — там противопоставляется понятие «штатный чиновник» (занимающий штатное место, по штату) и «нештатный», сверхштатный. Видимо, прилагательное *нештатный* появилось в русском языке гораздо раньше, чем *внештатный*, но позже было им несколько оттеснено. Теперь же слово *нештатный* снова активизировалось и употребляется наряду со словом *внештатный* (См.: А. В. Калинин. «Культура русского слова», Из-во МГУ, 1984 г.).

Люстра и ее «конкурент»

И. Г. Добродомов,
доктор филологических наук



В 1760 году В. К. Тредиаковский выпустил книгу «Сокращение Философии Канцлера Франциска Бакона». В этой книге В. К. Тредиаковский переводил французское *lustre* словом *паникадило*: «Как одно паникадило освещает лучше столовую хранину, нежели сто свеч...»

Этот один из ранних случаев, когда французское слово *люстра*, так сказать, «постучалось» в русский язык, окончился победой его синонима *паникадило*.

Но дальнейшее воздействие французской культуры на русскую, особенно в высших кругах русского дворянства, привело к тому, что старинное *паникадило* стало противопоставляться новомодной *люстре*, как это не без тонкой иронии показал Гавриил Добрынин — один из замечательных писателей-мемуаристов рубежа XVIII—XIX веков — при описании европеизированной помещичьей усадьбы конца третьей четверти XVIII века, где старые русские названия сменились французскими:

«Расположение покоев, их многочисленность, обои, картины, комоды, шкафы, столы, бюро, — красного дерева; все сие в надлежащем порядке и чистоте, а затем уже следует по порядку: вместо подсвечников — шандалы, вместо занавес — гардины, вместо зеркал и паникадил — люстра; вместо утвари — мебель, вместо приборов — куверты, вместо хорошего и превосходного — „тре биец“ и „сюперб“. Везде вместо размера — симметрия, вместо серебра — аплике, и слуг зовут ляке» (Истинное повествование или жизнь Гавриила Добрынина... 1752—1823. СПб., 1872.). А вот описание обновления обстановки старинного княжеского

дома в начале XIX века, в семейной хронике «Захудалый род» (1873) Н. С. Лескова (без упоминания слова *паникадило*): «...место золоченого обруча с купидонами, который спускался с потолка и в который вставлялись свечи, повесили дорогую саксонскую люстру с прекрасно выполненными из фарфора гирляндами пестрых цветов».

Название *люстра* к началу XIX века уже настолько прочно вошло в состав русского языка, что с этого времени оно регулярно начинает фиксироваться русскими словарями. *Люстра* впервые попало в состав «Нового словотолкователя, расположенного по алфавиту» Н. Яновского (Ч. II. СПб., 1804) со следующим толкованием: «Слово сие употребляют, говоря о хрустальном или бронзовом паникадиле, состоящем из большого или меньшего числа частей различной фигуры и привешиваемом к потолку церквей, больших зал или иных комнат для лучшего их освещения».

В «Общем церковно-славено-русском словаре» П. И. Соколова (Ч. I. СПб., 1834) для *люстры* дается чисто светское определение, но через слово *паникадило*: «Хрустальное или бронзовое паникадило, привешиваемое к потолку комнат для их освещения».

Вхождение французского слова *люстра* в язык не прошло бесследно для его более старого конкурента, который пришел к нам тысячу лет назад вместе с принятием христианства. Слово *паникадило* постепенно ушло из светской жизни, но закрепилось на какое-то время как обозначение предмета церковного обихода — большой церковной люстры.

Процесс вытеснения старых слов новыми заслуживает специального рассмотрения, и судьба слова *паникадило* в этом отношении особенно поучительна.

Почти тысячелетняя история многих слов греческого происхождения, проникавших на Русь после принятия христианства в 988 году, сопровождается их варьированием, столь обычным для периода освоения слова заимствующим языком. Но первоначальное варьирование в конце концов сменяется унификацией форм, победой какой-либо одной из них с сохранением каких-то следов бывшего активного варьирования, обнаруживаемых при сопоставлении с оригинальной формой. Это на русской почве ярко прослеживается в судьбе византийского названия люстры, церковного, обычно висячего, подсвечника с большим количеством гнезд для свечей полукандилон. Как показывают «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского, на древнерусской почве это слово приобрело целый ряд звуковых форм: *поникадело*, *понекадело*, *понекадило*, *поникадило*, *паникадило*.

Изменение начала слова *поли-* на *пани-* произошло, видимо, под влиянием греческого слова *панихида* «всенощная», которое также первоначально имело ряд вариантов, отмеченных И. И. Срезневским.

Как обозначение множества свечей на одном приспособлении слово *паникадило* обнаруживало тенденцию к употреблению исключительно в формах множественного числа, что вызвало реакцию ревнителей чистоты языка, осудивших употребление множественного числа *паникадила* вместо единственного *паникадило* (*зажжены одни только средние паникадила*) [Долопчев В. Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи. 2-е изд. Варшава, 1909].

Любопытно колебание грамматического рода у этого слова, отмечаемое в уже упомянутой хронике Н. С. Лескова «Захудалый род»: «паникадило в два пуда весу., под сею паникадилою., ...этот паникадил., паникадил был заказап...»

Отметивший во втором издании своего опыта русской стилистической грамматики «Правильность и чистота русской речи» (выпуск 2-й. Птг., 1915) редкость формы *паникадил* при обычном *паникадило* В. И. Чернышев проиллюстрировал редкое употребление формы *паникадил* лишь одним приведенным выше примером из «Захудалого рода» Н. С. Лескова.

Но самым пагубным для слова *паникадило* было его сближение с исконным русским словом *кадило* «сосуд, в котором во время богослужения курятся благовония», последнее также относилось к терминам церковного обихода и обладало до какой-то степени сходной сочетаемостью с другими словами (*зажигать, гореть* и т. п.).

Своеобразное объединение терминов *кадило* и *паникадило* на основе их мнимой былой этимологической общности на греческой почве встречаем даже у лингвиста Я. К. Грота (1812—1892), который отмечал у обоих этих слов исчезновение согласного *н*: «Изгоняется носовой звук: *кадило, паникадило* (вм. *кандило*)...» (Грот Я. К. Филологические разыскания. 4-е изд. СПб., 1899).

Варьирование слова продолжалось долго, но уже в форме соперничества чисто русской формы *паникадило* с восстановленной старой формой *поликандило* при оглядке на греческий первоисточник, причем эти формы подчас даже не соотносились друг с другом, воспринимаясь как разные слова. Об известной самостоятельности форм *паникадило* и *поликандило* свидетельствуют старые словари иностранных слов, типа, например, популярного в свое время «Карманного словаря иностранных слов» Н. Я. Гавкина (20-е изд. Киев, 1903), где находим, к примеру, две никак не со-

относящиеся словарные статьи: «Паникадило *гр.*— большая люстра посредине церкви или подвесной подсвечник» и «Поликадило *гр.*— церковная лампа о нескольких свечах».

Но из-за сильного воздействия со стороны исконно русского слова *кадило* церковный термин *паникадило* преобразовался формально, получив созвучие с другим тоже церковным термином, что даже создало предпосылку и для их смыслового сближения. Последнее привело к тому, что уже у писателей XIX, а особенно XX века наблюдается употребление слова *паникадило* вместо *кадило*.

Во всех изданиях повести И. С. Тургенева «Степной король Лир» оставляется без внимания и комментариев фраза: «...еле живой дьячок вышел из кухни, с трудом раздувая ладан в старом медном *паникадиле*»,— хотя А. А. Фет в письме И. П. Борисову от 25 октября 1870 г. не без иронии писал в связи с этой фразой Тургенева, что тот «заставил дьячка раздувать *паникадило*: простое *кадило* ему в Бадене показалось малым. И как ухитрился дьячок не задувать, а раздувать *паникадило*». Однако в рассказе «Гамлет Щигровского уезда» Тургенев абсолютно правильно употребляет слово *кадило*: «...тонкой голубоватой струйкой бежал дым из отверстий *кадила*».

Перейдем к более поздним примерам.

В «Думе про Опанаса» Э. Багрицкого читаем:

На руке с нагайкой крепкой
Жеребьяче мыло;
Револьвер висит на цепке
От *паникадила*.

В последней книге писателя Ю. Н. Либединского «Связь времен», подготовленной самим автором, но вышедшей уже посмертно, в воспоминаниях о няне читаем: «Порою в детской она потешала нас, передразнивая церковную службу. Махала рукой, будто держа *паникадило*, и гнусаво возглашала: — Паки, паки, попа разорвали собаки! И если бы не дьячки, разорвали бы па клочки» («Советский писатель», 1962). В отдельном издании тех же воспоминаний «Воспитание души» (Детская литература, 1962) вместо *паникадило* напечатано *кадило*, как и в переизданиях 1964, 1973 годов.

В журнальной публикации воспоминаний М. С. Шагинян «Человек и время» встречаются две мало кого сейчас смущающие фразы: «Уже кто-то, у окна, зажег кусочки ладана и раскачивал *паникадило*, чтоб они разгорелись»,— и далее: «Человек с *паникадилом* приблизился, поплыли опять синие дымки по комнате» (Новый мир. 1975, № 3). Но в отдельном издании 1980 года *пани-*

кадило заменено *кадилом*, а первая фраза приобрела неосторожное уточнение: «Уже кто-то, у окна, бросил кусочки ладана в тлеющие угольки и раскачивал *кадило*, чтоб они (?) разгорелись».

Неправильное употребление встречаем в переводе В. Топорова стихотворения армянского поэта Сиаманто «Похороны»: «Паникадилом железным — чужим для древес / Смерть махала в озябшем лесу...» (Сиаманто. Лоза гнева. 1987).

Итак, сложная история употребления на русской почве термина *паникадило* и постепенного его слияния со словом *кадило* получает в историческом ключе гораздо более простое объяснение, чем возможное истолкование положения этого же слова *паникадило* в лексико-словообразовательной системе современного русского литературного языка.

Действительно, относительная массовость материала и параллельное употребление в одном и том же смысле слов *паникадило* и *кадило* (см. примеры у И. С. Тургенева) создают возможность рассматривать последнее в качестве сокращенного варианта первого (и наоборот — считать первое расширенным вариантом второго). Правда, при этом оказывается, что эта вариативность осложнена для варианта *паникадило* наличием двух значений при однозначности его неполноценного варианта *кадило*.

Массовость смешения слов *паникадило* и *кадило*, в значительной степени обусловленная ростом атеистических настроений, требует, чтобы предостережение против этого смешения нашло отражение в словарях.

Рисунок Ю. Панипартовой

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Можно ли сказать: „Настало время *подвести резюме?*“ По моему, это неверно.»

И. А. Киселев, г. Калининград, Московской обл.

Вы правы, налицо ошибка.

Резюме [от франц. *résumé*] — краткое изложение сути речи, статьи и т. п.; заключительный итог речи, доклада; краткий вывод из сказанного, написанного или прочитанного. Ср. «После последнего слова обвиняемых... председатель начал свое резюме» (Л. Толстой. Воскресение).

В Вашей фразе «настало время *подвести резюме*» последним словом неправомерно подменяется слово *итог* (*итоги*). Следует сказать «*подвести итоги*».

ЗА ПЕСЕННОЙ СТРОКОЙ

«Эй, баргузин,
пошевеливай вал...»

В. П. Владимирцев,
кандидат филологических наук

Ревнителю и почитателю русских народных песен, конечно, узнали слова, вынесенные в заголовок статьи. Да, они взяты из «байкальского гимна», как называют любимую всеми нами песню «Славное море — священный Байкал».

Славное море — священный Байкал!
Славный корабль — омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко.

Долго я тяжкие цепи носил,
Долго скитался в горах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почую.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не поймала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала.

Шел я и в ночь и средь белого дня,
Вкруг городов озираясь зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.

Славное море — священный Байкал,
Славный мой парус — кафтан дыроватый.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Слышатся грома раскаты.

Но многие ли ведают о том, какие реалии стоят за песенной строкой о *баргузине*? Смутно представляется нашему современнику и *Славный корабль — омулевая бочка*. Недавно в одной из центральных газет промелькнула корреспонденция, авторы которой позволили себе утверждать, будто *омулевая бочка* — «легендарный символ удачи байкальских рыбаков» и «воспета в сказаниях». Подобные неточности, ложные красоты, способны внести еще большую путаницу в понимание исторически значимых культурно-бытовых деталей из текста сибирского «гимна».

Очевидно, нужен свежий комментарий к популярной песне, лингвистический и реальный (по данным текстологии, фольклора, этнографии, истории Сибири, озероведения) — с тем, чтобы напомнить о некоторых изначальных истоках ее духовной силы.

Не обойтись без краткой историко-литературной справки. В 1858 году петербургский еженедельник «Золотое руно» напечатал стихотворение безвестного сибирского поэта Дмитрия Павловича Давыдова (1811—1888) «Думы беглеца на Байкале». Никто не мог тогда предугадать, что стихотворению уездного учителя из Забайкалья уготована на редкость счастливая судьба: вскоре, еще при жизни автора, проникнуть в толщу народа, обрести крылья величавой и мужественной мелодии и за какие-нибудь полвека стать народной «гимнической» песней. Замечательно и то, что целые поколения русских революционеров распевали «Славное море...» как призывную песню борьбы за волю.

Д. П. Давыдов (кстати, двоюродный племянник знаменитого гусарского поэта и партизана Дениса Давыдова), родившийся в сибирском городке Ачинске и часто бывавший возле Байкала, в краю каторжных тюрем и ссылки, близко, можно сказать, в лицо, знал тех, кто послужил ему прототипом отважного беглеца. Добавим, что автор «Славного моря...» отличался энциклопедической ученостью. В качестве учителя преподавал русский язык, математику, историю и географию. Изучил бурятский, монгольский и якутский языки и пользовался ими в просветительской деятельности среди коренного населения Восточной Сибири. Составил «Якутско-русский словарь» (Берлин, 1852). В круг его научно-творческих интересов входили поэзия, этнография, физика, археология, геология, метеорология... Словом, стихотворение «Думы беглеца на Байкале» вышло из-под пера весьма талантливого человека, мечтавшего сосредоточиться целиком на литературных занятиях.

Отнюдь не случаен в «Думах» выбор героя и сюжета.



Д. П. Давыдов предусмотрительно позаботился о том, чтобы читатели, особенно за пределами прибайкальской Сибири, до конца поняли реальную основу и подробности его стихотворения, и с этой целью присовокупил к нему авторские примечания этнографического и языкового характера. По существу поэт написал краткий очерк в защиту *прохожих*, или беглых — отчаянных смельчаков и бунтарей, которые, презрев все опасности, бежали с каторги на волю. Так, Давыдов не без тайного восхищения (цензурные рогатки возбраняли большее), рассказывал, в частности: «Беглецы с необыкновенною смелостью преодолевают естественные препятствия в дороге. Они идут через хребты гор, через болота, переплывают огромные реки на каком-нибудь обломке дерева; и *были примеры*, что они рисковали переплыть Байкал в бочках, которые иногда находят на берегу моря и в которых обыкновенно рыбаки солят омулей» (выделено нами. — В. В.).

Д. П. Давыдов, разумеется, знал эти героические *примеры*, как и все остальное, что вместились по праву животрепещущего сибирского материала в «Думы беглеца на Байкале» и примечания к ним. Следует иметь также в виду, что поэт дружил с людьми из окружения ссыльных декабристов. Более того — находился в родственных связях с В. Л. Давыдовым, одним из выдающихся руководителей декабристского движения, близким другом А. С. Пушкина (осужденный на вечную каторгу, В. Л. Давыдов жил в Забайкалье, потом на поселении в Красноярске). Д. П. Давыдов не мог не сочувствовать томящимся в каторжной неволе узникам самодержавия. Это неоспоримо выражает и доказывает своеобразная ода вольности — «Думы беглеца на Байкале», где воспеваются мятежный порыв к свободе, непокоренность вольнолюбцев.

Молодец бежит с каторги... Славное море принимает беглеца под свое покровительство... Слитые воедино, эти героические образы — наибольшая художественная удача автора, средоточие прекрасного в стихотворении. Давыдов вдохнул в рассказ о побеге как бы душу вольного Байкала, раскрыл народно-эпические представления о *славном море*. Вот почему народ воспринял и усвоил «Думы беглеца на Байкале» органично — как свою собственную песню. Время и история распорядились так, что байкальская тема сделалась в песне главенствующей. О нашем современном отношении к сибирскому «гимну» хорошо сказал старейший советский писатель Л. М. Леонов: «В радостях и печалях, на пиру и во фронтовой землянке пели мы про Байкал, черная из него заглазно, наряду с прочими великими источниками, богатырскую

силу пашу». Массовое охранно-экологическое движение в защиту Байкала еще более обновило и возвысило смысл песни «Славное море...». «Байкал у нас один» (В. Г. Распутин). Одна — под стать Байкалу — и величественная, как настоящий гимн, народная Песнь о нем.

В процессе фольклорного бытования «Думы беглеца на Байкале» сократились более чем наполовину. Из сорока четырех строк (стихов) народ-певец оставил двадцать. Они-то и известны сейчас каждому как песня «Славное море — священный Байкал». Что было опущено и забыто? Множество подробностей из рассказа *молодца* о переправе через Байкал. Сохранились: основная сюжетно-повествовательная канва и рефрен о *славном море Байкале* и *баргузине*, окольцовывающий песню и сообщающий ей единство мысли и чувства.

Нуждается в комментариях, прежде всего, непосредственно байкальский элемент в песне. Здесь все достойно внимания.

Славное море. Это словосочетание (в позиции зачина) обнаруживает в Д. П. Давыдове поэта, который сознательно следовал народным поэтико-речевым традициям и образцам. Оно встречается в русских былинах как постоянный эпитет. Озеро Байкал местные прибрежные жители в повседневных разговорах между собой почтительно величали (и величают доныне) *морем*, не иначе. Говорят, например: *На море вал пошел* (поднялась волна). Любопытно, что эвенки испокон именуют озеро *морем* (эвенк. *лама*). Когда первый русский землепроходец Курбат Иванов достиг в 1643 году берегов Байкала, то назвал его *по-эвенкийски лама*. В «Чертежной книге Сибири» Семена Ремезова (1701 г.), «учиненной» по указу Петра I, на листе «Чертеж земли Иркутского города» изображено озеро Байкал и выведены поперек *две* крупные надписи *Море Байкаль*. С. Ремезов определенно настаивал на этом именовании, ибо повторил его еще раз (в третий), но уже латинскими буквами *baykalse* (английское *se, sea* — море). Атлас (нас интересуют в первую очередь географические названия) составлен по данным XVII века, отражает народную топонимику.

Священный Байкал. В давыдовском оригинале инос определение — *привольный*. Народная редакция ключевого словосочетания (восходит к рубежу XX века) полна глубокого культурно-исторического смысла. Русские этнографы давно подметили, что Байкал в глазах коренных жителей превратился в живое языческое божество, требующее жертв для умилостивления. Автору этих строк и в наши дни доводилось наблюдать, как женщины-бурятки, застигнутые в лодке на Байкале яростным штормом, сует-

верно, по привычке предков, бросали в море хлеб, съестные припасы, чтобы... задобрить и расположить к себе грозную стихию, чрезвычайно опасную в это время для человека. Фольклорный эпитет *священный* идет от культового поклонения Байкалу и его береговым урочищам (Шаманский мыс, Шаман-камень и т. п.) — поклонения, возникшего на основе хозяйственного освоения природных богатств озера. Народно-языческие понятия о *священном* значении байкальских вод и побережий несли экологически важную службу — строгой охраны *моря* от загрязнения. В поселке Сахюрта у пролива Ольхонские ворота еще и теперь можно услышать от старых людей удивительные рассказы: когда-то по неписаному кодексу местных жителей, даже стирать белье в Байкале запрещалось — это было великим грехом перед «святыней». В этнографической литературе XIX века встречается указание, что монголы называли Байкал *Далай-Нор* (Святое озеро). *Святым морем* именуют Байкал и старые энциклопедические словари (см., напр., Энциклопедический словарь Ф. Павленкова). Народно-песенное определение *священный* переосмыслено сейчас нами — социально и эстетически — в духе новейших представлений о величии и уникальности озера. Лингвистика не дает бесспорного объяснения топониму *Байкал*. Принято считать, что он происходит от тюркско-монгольского *байгаал* (большой водоем) [см., напр., Мельхеев М. Н. Географические названия Восточной Сибири]. По другим источникам, название восходит к якутским словам *бай* (богатый) и *кель* (озеро), китайскому *бэй-хай* (северное море). Наконец, некоторые производят топоним от арабского обозначения озера, известного среднеазиатским и арабским географам уже с X века, — *Бахр ал — Бака* (Море, рождающее много слез, или Море Ужаса). В этом названии, возможно, содержится намек на коварные байкальские ветры и штормы.

Славный корабль — омулевая бочка. Омуль (деликатесная рыба из сиговых) — исстари основной объект рыбного промысла на Байкале. Переработка омуля производилась бочечным посолом прямо на берегу. В бочку укладывали до 200—250 кг. рыбы. Славились селенгинские и баргузинские промыслы. Отсюда на судах бочки с омулем доставлялись по Байкалу к Иркутску. *Омулевая бочка* имела плоскую корытообразную форму (по-местному, *лагушок*). Как явствует из пояснений Д. П. Давыдова к «Думам», беглые каторжники («бродяги») пользовались такой посудиною в качестве подручного переправочного средства, лодки. Они стекались к Байкалу, бежав из тюрем Забайкалья (*Акагуй, Шилка, Нерчинск*, упоминаемые в песне, и др.). Переправа через море была для них кратчайшим путем на запад, в центральную Россию, свободным от погони и надзора.

Эй, баргузин, пошевеливай вал... В стихотворении Д. П. Давыдова строка начиналась с междометия *ну*. Народное художественное чутье подсказало замену — этого требовал приподнято-волевой настрой песни. Понукающее, «извозчичьё» по контексту *ну* уступило место решительному, молодецкому, как похвист, возгласу *эй*. Молодец смело обращается к *баргузину* за помощью — бросает вызов ветру, бурным стихиям. Мореход поневоле, он тем не менее знает опасности переправы через Байкал в средней части озера. Хочет воспользоваться попутным сильным ветром (*баргузином*) и разгоняемой им волной (*валом*), бегущей от восточного, Баргузинского побережья к западному (где расположен Иркутск), чтобы как можно скорее — в *омулевой бочке* — пересечь Байкал (несколько десятков километров пути, при низких температурах воды).

Этой цели служит и приспособленный под парус *кафтан дырватый* (в тексте Давыдова *армяк*) — мужская долгополая верхняя одежда. Ср.: «Через Байкал судами переходят, парусами перебегают» (Ремезов С. Чертежная книга Сибири). Один из феноменов Байкала — ветры, отличающиеся постоянством направления. Продолжительный восточный и северо-восточный ветер называют здесь *баргузин*, потому что он дует от Баргузинского побережья, по преимуществу в средней части моря. *Баргузин*, как уже сказано, благоприятен для судов, плывущих с востока на запад. Дует ровно и подолгу, почти поперек котловины Байкала; особенной силы достигает поздним летом и осенью, когда поднимает волну (*вал*, как говорят байкальские рыбаки) высотой до нескольких метров, чем опасен даже для опытных моряков.

Река *Баргузин*, давшая название горному хребту, речной долине, острогу-городу, заливу и ветру на Байкале, получила свое наименование от этнонима *баргут*. Древнее племя баргутов, по языку близких современным бурятам, жило в Прибайкалье, в стране Баргу (Книга Марко Поло. М., 1956. С. 274), или *Баргуджин-Токум*, упоминаемой в персидской летописи XIV века. Этноним берет начало от слова *барга*. В некоторых бурятских диалектах *барга* означает «глухомань», «окраина». Суффикс множественного числа *-ут* образует собирательное *баргут*. Отсюда — *баргуджин*, *баргучжин*, *баргузин*, то есть *баргузинцы*, иначе говоря, «жители глухомани, окраины», или «окраинцы» (ср.: украинцы). *Баргузин* — топоним, отмеченный древнейшими документами (Мельхесев М. Н. Топонимика Бурятии). Песня «Славное море...» сделала слово *баргузин* широко известным, «легендарным» и оттого — парадокс языка — менее ясным по значению.

Молодцу плыть недалечко. Утверждение, казалось бы, проти-

воречит рискованному предприятию, в которое пускается молодец (переправа через Байкал с восточного берега на западный). Народная редакция давыдовского текста исключила стихи, поясняющие дело в целом: *Четверо суток верчусь на волне; Близко виднеются горы и лес*. Герой приближается к западному берегу озера — благополучно завершает четырехсуточное путешествие в бочке-лодке по песпокойному бурному морю.

Горная стража меня не поймала. У Давыдова — «не видала». Речь идет о перчинской горнозаводской (рудничной, приисковой) и тюремной страже, преследовавшей беглых каторжников.

Пуля стрелка миновала. Поэт прокомментировал строку сам: «Беглецы из заводов и поселений вообще известны под именем «прохожих». Они идут, не делая никаких шалостей, и пытаются подаянием сельских жителей... Беглецы боятся зверопромышленников и особенно бурят: существует убеждение, будто бы они стреляют прохожих...». Знаменательна благородная оговорка «будто бы»: Давыдов не разделял такого «убеждения». По другим сведениям, охотники (стрелки) не упускали случая подстрелить беглого, чтобы получить от властей вознаграждение и очистить таежные угодья от небезопасных бродяг-преступников.

Слышатся бури (вариант: грома) раскаты! Этой строки, заключающей «байкальский гимн», в стихотворении Давыдова нет. Но она встречается уже в записях песни конца XIX века. Ее идея характерна для эпохи подъема освободительного движения в России. *Молодец* выступает в роли буревестника, что само по себе усиливает революционное звучание песни.

Стихотворение «Думы беглеца на Байкале» стало песней (фольклоризовалось) поначалу среди ссыльных в Восточной Сибири. По пословице *Где родился, там и сгодился*. Затем, как еще одно подтверждение пророческих слов М. В. Ломоносова о том, что могущество российское прирастать будет Сибирью, песня распространилась по всей стране.

Уместен вопрос: кто сочинил мелодию «Славного моря...»? Это остается пока загадкой. Предполагают, что давыдовские стихи положили на музыку или сопрягли с музыкой находившиеся в забайкальской ссылке дворянские революционеры.

Песня про Байкал и баргузин увековечила в памяти народной имя поэта-сибиряка Д. П. Давыдова. Потомки его и поныне живут в Сибири.

Пркутск

Рисунок В. Леонова



НАКАНУНЕ СОЧИНЕНИЯ

А. В. Барандеев,
кандидат филологических наук

На вступительных экзаменах по русскому языку и литературе в большинстве университетов и вузов нашей страны абитуриенты пишут сочинение. Оно должно показать хорошее знание конкретных произведений русской и советской литературы.

Композиционная стройность работы достигается правильно составленным планом (его можно записать только на черновике). План отражает структуру сочинения: вступление, основная часть, заключение. Методика составления плана такова. Сначала следует вспомнить и записать все вопросы, имеющие отношение к теме. Затем внимательно перечитать их и вычеркнуть те, которые дублируют друг друга или не имеют прямого отношения к теме данного сочинения. Вступление может иметь несколько вариантов. Например, выбрана тема «Чацкий — выразитель идей декабристов». Учитывая такую формулировку, рекомендуем дать лаконичную характеристику декабристской эпохи, в которую была создана комедия «Горе от ума», или рассказать о дружбе А. С. Грибоедова с будущими декабристами А. И. Одоевским, В. К. Кюхельбекером и др.; сообщить сведения о реальных прототипах образа Чацкого или определить место, которое занимает комедия «Горе от ума» в творчестве А. С. Грибоедова и т. п.

Типичные ошибки, встречающиеся при написании вступления: слишком подробная или наоборот чересчур краткая характеристика эпохи, в которую создавалось литературное произведение, что приводит к несоразмерности вступления и основной части сочинения; изложение сведений, не имеющих непосредственного отношения к теме данного сочинения.

Основная часть сочинения должна четко, полно и последовательно раскрывать тему. Это требование может быть выполнено лишь при условии, если абитуриент хорошо знает текст художественного произведения, помнит важнейшие этапы в развитии сюжета, умеет анализировать и аргументировать, подкреплять

свои рассуждения цитатами из текста и высказываниями литературных критиков.

Плохое знание текста часто является причиной неудовлетворительных оценок (при этом абитуриент обычно ссылается на то, что он либо читал художественное произведение давно, либо помнит его лишь по спектаклю, кинофильму и т. п.). Встречаются, увы, и такие неожиданности: например, в сочинении по драме А. Н. Островского «Гроза» абитуриент пишет, что у Кабанихи было две дочери — Татьяна и Ольга; комментарии, как говорится, излишни.

Не зная текста во всех его деталях, невозможно глубоко и полно раскрыть, например, такие темы сочинений, как «Есть ли у Чацкого единомышленники?»; «Какие люди окружают Печорина и зачем они введены в роман „Герой нашего времени“?»; «Образ автора в романе „Молодая гвардия“» или «Образы революционеров-интеллигентов в романе „Мать“».

Не получит хорошей оценки сочинение, в котором тема будет освещена неполно или односторонне. Например, раскрывая тему «Молодое поколение в романе „Отцы и дети“», абитуриент прежде всего вспомнит Базарова и Аркадия Кирсанова, но при этом следует не забыть о других героях, представляющих молодое поколение в романе И. С. Тургенева, — Ситникова, Кукшицу, Анну и Екатерину Одинцовых. «Революционер и революционная действительность в романе „Что делать?“» — в этой работе недостаточно сосредоточить внимание только на Рахметове, необходимо дать анализ конкретных фактов революционной действительности 60-х годов XIX века, отраженных в произведении.

Незнание текста, а также событий, относящихся к истории создания художественного произведения, служит причиной грубых фактических ошибок. К ним, в частности, относятся неверные сведения, касающиеся времени создания произведения (например, абитуриент утверждает, что комедия «Горе от ума» создана после восстания декабристов, а роман «Мать» написан после Октябрьской революции). Нередко встречаются ошибки, связанные с неточным употреблением имен или фамилий литературных героев: Нагульный вместо Нагульнов, Разметный вместо Разметнов, Островной вместо Островнов; наблюдается путаница и в употреблении имен братьев Кирсановых — Павла Петровича и Николая Петровича.

В основной части сочинения абитуриенты нередко допускают такую ошибку, как пересказ текста произведения вместо его углубленного анализа.

В заключении необходимо обобщить предшествующий анализ

и сделать выводы, которые можно подкрепить цитатами из литературно-критических статей. Эта часть сочинения представляет собой лаконичный ответ на выбранную абитуриентом тему.

За сочинение ставится одна оценка, учитывающая знание абитуриентами художественных произведений школьной программы, умение правильно анализировать их, а также уровень орфографической, пунктуационной и стилистической подготовки. В связи с этим обратим внимание на типичные орфографические ошибки, встречающиеся в сочинениях. Многие из них связаны с употреблением прописных и строчных букв при написании таких названий, как *Петровская эпоха, Отечественная война 1812 года, первая мировая война, февральская революция 1917 года, Временное правительство, Октябрьская революция, гражданская война, Первая Конная армия, Великая Отечественная война, Парад Победы, Советская Конституция, Страна Советов, Советская Родина, Советская страна* и т. п.

Часто встречаются ошибки в написании слов: *адъютант, будёновка, времяпрепровождение, военнообязанный, военачальник, в пору* (вовремя), *в пору* (по мерке), *гуманизм, декабристский, дубинноголовая, мировоззрение, непримиримый, общественно полезный, предыстория, преумножить* (значительно увеличить), *приумножить* (несколько увеличить), *привилегия, ровесник, сверстник* и др.

Одно из важнейших требований, предъявляемых к сочинению,— стилистическая грамотность, хороший литературный язык. Абитуриенту необходимо показать прочные навыки владения письменной литературной речью, язык сочинения должен отличаться ясностью, выразительностью, быть в меру эмоциональным.

Весьма распространенной ошибкой является неточное или неправильное употребление слов. Например: «Каждый из этих героев предстает перед нами во всем своем лице». В литературном языке *лицо* обозначает человека и людей (*официальное лицо, отдельные лица*) или неповторимую индивидуальность человека (*творческое лицо*). В данном предложении следовало использовать слово *облик*: «Автор сумел показать облик каждого из этих героев».

Незнание точного значения слова приводит к искажению смысла фразы из вступления к поэме «Во весь голос», переданной в такой форме: «Маяковский говорит о себе, что он революцией демобилизован и призван». Слово *демобилизован* обозначает человека, уволенного в запас после окончания срока службы в армии, поэт же утверждал совсем другое, что он «революцией мобилизован и призван». Другой пример — искажение цитаты из

романа «Евгений Онегин»: «Нет, не пошла Москва моя к нему с покрытой головою» (в тексте романа — с *повинной* головою).

Недопустимо употребление слов и выражений сугубо разговорного или просторечного характера, придающих высказываниям сниженную стилистическую окраску, причем нередко проницательного или комического характера, как, например: «Татьяна с размаху влюбилась в Онегина».

Следует исключить и такие разговорно-просторечные слова, как *изний* (вместо *из*), *тамошний*, *тугошный*, *муторный* и т. п., а также слова и выражения из молодежного жаргона: «Ноздрев так выступил, что Чичиков больше не возникал». В строго литературном письменном изложении стилистически неуместно употребление каких-либо элементов из разговорной спортивной фразеологии: «В споре с фамусовским обществом Чацкий победил, и с крупным счетом».

При выборе формы слова необходимо, в частности, учитывать, что не от всех глаголов возможно образовать страдательные причастия прошедшего времени. Например, в предложении «Молодогвардейцы были зверски расправлены фашистами» употреблено причастие *расправлены*, образованное от глагола *расправить* вместо страдательного причастия прошедшего времени от глагола *расправиться*, но такого причастия от этого глагола образовать нельзя. В стилистически правильном виде предложение должно быть таким: «Фашисты учинили зверскую расправу над молодогвардейцами».

Следует избегать в сочинении частого употребления одних и тех же или однокоренных слов, что может привести к речевой избыточности. Например, «Павел Корчагин становится бойцом Красной Армии. Его убеждения становятся твердыми»; «Маяковский горд сознанием, что в его стране личные и общественные интересы едины. Он гордится, что Родина крепнет с каждым днем. Он с гордостью говорит, что папа республика — начало новой эры». В сочинениях абитуриентов особенно часто встречаются такие тавтологические выражения, как *более лучше*, *автобиография жизни*, *изобразить образ*, *сатирическая карикатура*, *построение композиции*, *развитие прогресса*, *неприглядно выглядеть* и т. д.

В процессе работы над сочинением могут возникнуть трудности с определением прописной или строчной буквы в фамилиях литературных героев, употребляющихся во множественном числе: *Чацкие*, *молчалины*. Четких правил на этот счет, к сожалению, нет, однако сложившаяся практика печати свидетельствует о том, что на выбор написания этих собственных имен решающее влияние оказывает эмоционально-экспрессивное вос-

приятие их. Так, с большой буквы пишем — *Чацкие, Базаровы, Разметовы*, а фамилии отрицательных персонажей со строчной буквы — *молчалины, скалозубы, чичиковы*. Подробнее об этой особенности орфографии, отражающей своеобразную стилистику собственных имен, можно прочитать в заметке Л. А. Климковой «Хлестаковы или Хлестаковы?» (Русская речь. 1980, № 6).

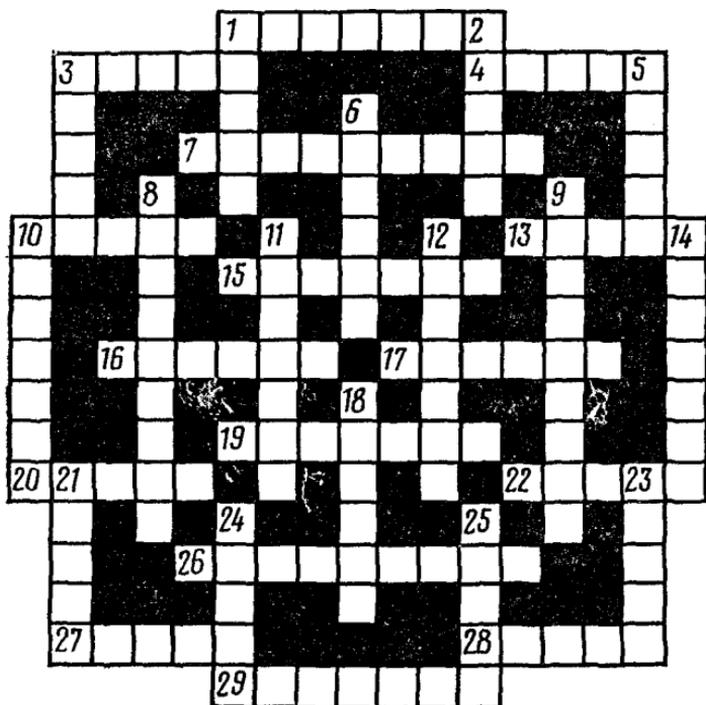
Сочинения, выразительные в языково-стилистическом отношении, отличаются умелым использованием разнообразных синтаксических конструкций: простых и сложных предложений, различных придаточных предложений, причастных и деепричастных оборотов, сравнительных оборотов и т. д. Однако некоторые абитуриенты, стремясь избежать пунктуационных ошибок, полагают, что лучше написать сочинение короткими фразами, тем самым явно обедняя и упрощая стиль изложения, делая его примитивным и невыразительным.

В последние годы стало «модным» нарочитое дробление сложных предложений на простые. Приведем фрагмент из сочинения на тему «Романтика наших дней в современной советской литературе»: «Цветут сады. Весна. Пора походов. И идут романтики далеко-далеко. Туда, где „белеет парус одинокий“. Туда, где земля покрыта снежным покровом. Где горные вершины врезаются в облачную даль. Туда, где не тронуты фауна и флора. Где скрыты природой земные сокровища. Идут они все дальше и дальше. Чтоб увидеть алый парус или поймать жар-птицу».

Не отвергая в целом этот стилистический прием, следует заметить, что абитуриентам использовать его нужно в разумных пределах, выделяя лишь самое главное и не перегружая сочинение «разорванными» предложениями.

Готовясь к вступительным экзаменам, необходимо повторить те правила орфографии и пунктуации, на которые часто допускаются ошибки, выполнять упражнения, писать диктанты. Существенную помощь в этом окажут многочисленные пособия по русскому языку для поступающих в вузы или соответствующие пособия для подготовительных отделений вузов. В особенно затруднительных случаях следует проверять написание слов по орфографическим словарям русского языка последних лет издания. Написание собственных имен можно уточнить по словарю-справочнику Д. Э. Розенталя «Прописная или строчная?» (М.: Русский язык. 1987). Советуем также прочитать недавно изданную книгу Н. П. Морозовой «Учимся писать сочинение» (М.: Просвещение. 1987).

КРОССВОРД



КРОССВОРД «А. Т. Твардовский. ВАСИЛИЙ ТЁРКИН»

По горизонтали: 1. Видный советский государственный деятель, упоминаемый в главе «Генерал». 3. Синоним к словам *хлопцы, братцы, ребята*. 4. Стремительное нападение войск на противника. 7. Название одной из глав. 10. Слово в значении «бойкий, удалой», характеризующее Тёркина. 13. Знак на фашистском самолете, сбитом из винтовки Тёркиным. 15. Вечернее домашнее собрание для развлечения (прост.), о котором мечтает Тёркин после получения награды. 16. Какие папиросы он там достал бы? 17. Плоский сосуд, приспособленный для ношения с собой. 19. Название отблеска далекой грозы, этим словом автор называет отблеск от пожаров. 20. Поездка (автомобильная, гужевая и т. п.) с целью доставки груза, пассажи-

ров (*спец. и разг.*). 22. Ансамбль из восьми исполнителей. 26. Писатель XIX века, написавший роман «Василий Тёркин» (совпадение названий данного романа и поэмы Твардовского случайное). 27. Инструмент для резания. 28. Как называется Тёркин Смерть в главе «Смерть и война»? 29. Небольшой деревянный крестьянский дом, который сравнивается автором на войне с раем.

По вертикали: 1. Какой необходимый предмет потерял боец (глава «О потере»? 2. Река, вытекающая из Чудско-Псковского озера, впадает в Финский залив. 3. Взрывное вещество, применяемое для изготовления снарядов и патронов. 5. Обозначение местонахождения кого-, чего-л. 6. Последнее из трех слов, которыми

поднял Тёркин взвод в атаку: « — Взвод! За Родину!..?». 8. Острое словцо, забавное словосочетание, на которые был мастер Василий Тёркин. 9. Шутливое вступление, концовка рассказа в виде прибаутки, поговорки. 10. Место или сооружение, защищающее от кого-, чего-л. 11. Название одной из глав. 12. Окраина селения, где поднял Тёркин взвод в атаку. 14. Прежний хозяин доставшейся Тёркину гар-

мони. 18. Река, вытекающая из Байкала. 21. Какое слово использовал автор для характеристики генерала на войне («Суд. Отец. Глава..?»). 23. Райцентр в Смоленской области на реке Десне, упоминаемый в поэме. 24. Название известного населенного пункта, бой за который шел в болоте. 25. Короткий нож с толстым клинком, носимый в ножнах.

СТРАНИЦА НОВЫХ СЛОВ

Филотаймист. Так называют коллекционера календарей, обычно иллюстрированных карманных. Такой календарь как будто специально создан для коллекционирования: он сочетает в себе два фактора — изображение и время.

Интерес к карманному календарю объясняется прежде всего широтой тематики. На его обложке можно увидеть шедевры изобразительного искусства и героев любимых мультфильмов, животных, пейзажи, воздушный, автомобильный и морской транспорт, цирк, спорт, рекламу товаров. Вот пример употребления этого слова в языке газеты: «Во дворце культуры имени Лепсовета работает клуб филотаймистов. О собирании иллюстрированных карманных календарей беседуем с

заместителем председателя клуба филотаймистов Б. М. Кришталева» (Веч. Ленинград, 1986, 28 апр.).

Образовано это новое слово по известной языковой модели, при которой в качестве первой составной части сложения используется элемент *фило-* (любящий, приверженный чему-либо), восходящий к греческому слову *phileō* (люблю): *фило-* + *-тайм-* (англ. *time* — время) + суффикс *-ист*. Это позволяет включить данное новообразование в один терминологический ряд с подобными ему наименованиями собирателей, коллекционеров чего-либо: *филагелист*, *филофонист*, *филокартист*, *филуменист*.

С. И. Алаторцева,
кандидат филологических наук



О ПРОИСХОЖДЕНИИ РУССКИХ ФАМИЛИЙ

На письма читателей отвечает

В. А. Никонов

Акин(ь)шин (Спрашивает В. П. Акиншин из Ленинграда). Основа фамилии — отчество от производной формы имени *Акинъша* из *Акинфий*, подобно *Тимоша* из *Тимофей*. В свою очередь разговорная форма *Акинфий* — из церковного имени *Иакинф* (в древнегреч. означало «гиацинт»).

Прибавление суффикса *-ш-* непосредственно к основе имени — характерное явление прежде всего для северо-западных говоров. Если здесь — *Акиншин* (*Акинъшин*), *Лукин*, *Никин*, *Ванъшин*, то в других говорах было бы *Акинишин*, *Лукашин*, *Никишин*, *Ванюшин*, т. е. перед суффиксом *ш* — гласный. Таким образом, сочетание суффикса *ш* с согласным (*Акинишин*) — явление специфически региональное, территориально ограниченное, для других местностей совершенно чуждое (по наблюдениям Ю. А. Федосюка).

Анджиевский (Спрашивает Л. И. Анджиевский). На Украине десятки населенных пунктов носят названия, образованные от личного имени *Андрей*. Изменение *рь* в *ж* произошло в польском языке около XIII века (сначала в *-рьж*) и отразилось в речи украинцев Правобережья и Приднепровья.

Артемьев (Н. Артемьева, из г. Альметьевск). Фамилия — отчество от мужского имени *Артемий*, принесенного на Русь христианством из Древней Греции, где оно означало «здоровый, невредимый». В русском повседневном употреблении преобладала его краткая форма *Артем*.

Ахрянов (Спрашивает Е. М. Ахрянов из Уфы). Основа фамилии — диалектное слово *охрял*, по В. И. Далю — тамбовское, означало «перяха», «оборванец»; изменение *о* → *а* — результат акаанья, которое наблюдается в Рязанской губернии, где и возникла фамилия.

Бабаев (Спрашивает И. А. Бабаев из Москвы). Основа фамилии

лии — тюркское слово *бабай* — «старик, дед», широко распространенное в русской речи Поволжья и Урала в различных значениях.

Бабаков (Спрашивает В. И. Бабаков из Курска). Основа фамилии — южнорусское слово *бабак* — сурок.

Бабанин (На вопрос А. В. Бабаница из Воропежа). В русских говорах было передким ласкательное обращение к бабушке или вообще к пожилой женщине — *бабаня*. Притяжательное прилагательное *бабанин* закрепилось за воспитанником бабушки или ее любимцем и стало фамилией.

Балябин (Спрашивает А. П. Балябин из Москвы). Основа фамилии — *баляба*, распространенное с разными значениями: в Архангельске — «разиня, ротозей, рохля», «болтун», в Вологде — «толстяк», на Вятке — *балябить* — «работать неумело, грубо», «бормотать, говорить неразборчиво».

Бандурин (Спрашивает П. И. Бандурин из Ленинграда). Не зная, где фамилия возникла, ничего определенного о ней сказать нельзя, настолько различны в разных местностях значения слова *бандура*. На Украине — это музыкальный струнный инструмент; в псковских и смоленских говорах так называли глупца, в вологодских — неуклюжую, толстую женщину, а в пермских — худощавого мужчину и т. д. Каждое из этих значений могло послужить основой прозвища, отчество от которого и стало фамилией.

Бахорин (На вопрос А. Г. Бахорина из Москвы). Отчество от прозвища *бахора*, во многих диалектах означающего — «разговорчивый, словоохотливый».

Бершадский (Спрашивает Л. А. Бершадский из Ленинграда). Первоначальное значение — прибывший из города Бершадь (в Винницкой области Украины).

Бушмин (И. Ф. Бушмин из Волгограда уверяет, что его фамилия очень редкая). В Москве (как и в других городах) десятки человек носят эту фамилию. В русских говорах широко бытует слово *бушма* в совершенно разных значениях: «репа», «пареная брюква», «неповоротливый, толстый», «буква» и др. (подробнее см. в «Словаре русских народных говоров», вып. 3, Ленинград, 1968).

Ваганов. Река Вага — правый приток Северной Двины. Жители этих мест прозывали — *Ваган*, позже слово употреблялось как личное имя, отчество от которого приобрело форму *Ваганов* и стало фамилией. Однако слово, как широко распространенное, имело много значений: «вахлак», «игра, шалости», «тесто» и др.

Р. Б. Ваганов в поисках раннего истока фамилии на нижегородско-пензенской территории обнаружил документ (1676 г.),

в котором засвидетельствован крепостной Ивашка Вагапов; находка помогла установить всю цепочку промежуточных поколений носителей фамилии за 300 лет.

Веденеев (Спрашивает В. И. Веденева). Фамилия представляет собой отчество: *Веденей* от греческой формы имени *Венедикт*, припесенного православной церковью древнеримского языческого имени *Бенедиктос* (латинское – «хорошо говорящий»).

Вырошников (На вопрос С. И. Вырошникова, Томск). Отчество от именованья *вырошник* (*выроцник*, *выроценец*) – слово сибирское, означало – «воспитанник», то есть выросший не в родной семье.

Гонохов (Спрашивает Н. Н. Порядина из г. Пушкино). Вероятна связь с глаголом *гоношить* – «делать наспех», *гонох* – «хлопотливость».

Дементьев (Спрашивает С. Страхов, г. Ростов). Отчество от церковного имени Дементий – древнеримского происхождения, от латинского *domo* – «укрощать».

Еранцев (О происхождении фамилии спрашивает семья Еранцевых из Горького). Наиболее вероятная основа – отчество от именованья по месту жительства предка – *яранец*, то есть из города Яранск (в Кировской области).

Красилов (Спрашивают Красиловы из Москвы). Основа фамилии – *красило*; по «Словарю русских народных говоров», оно обозначало плохого иконописца, маляра (рыбинское); этим же словом называли румяна, губную помаду (северокавказское).

Левышев (На вопрос А. И. Левышева из Калининана). Отчество от прозвища *левыш* – «левша».

Ложкомоев (Спрашивает В. В. Ложкомоева из г. Иванова). Основа фамилии – прозвище Ложкомой, так прозывали человека, облизывающего ложку после еды; в сибирских говорах это слово получило и переносное значение – «униженно угодничающий перед кем-либо ради собственной выгоды». Замена *ж* на *ш* объясняется в русском произношении оглушением звонкого согласного.

Лукшин (На вопрос И. В. Лукшина из Одессы). Возможны разные источники. Например: отчество от формы *Лукша* из канонического мужского имени *Лукиан* (повседневно – *Лукьян*) с суффиксом *-ша*, как *Ваньша*, *Никша* и другие просторечные образования.

Михненко. Читатель М. Б. Михненко из Ивановской области ошибается, находя свою фамилию редкой. На данной территории она даже очень часта. Исходная основа фамилии – имя Михаил. Суффикс *-хно* широко распространен на Украине, в Белоруссии и западно-русских областях вплоть до Среднего Поочья: *Вахно*, *Мах-*

но, *Сахно*; следующая ступень образования – присоединение украинско-белорусского компонента *-енко* со значением «потомок».

Моржеретов (О происхождении фамилии своего отца хочет узнать Л. Н. Димитрюк из Владивостока). Основа фамилии – женское имя Маргарита, латинского происхождения. Согласный *г*, в произношении замененный на *ж*, послужил к образованию формы, ставшей основой фамилии. В XVII веке встречается форма *Маржерет*, переключившаяся с родственной *Маржереттой*, отмеченной в книге телефонных абонентов Иркутска.

Мусаков (Спрашивает Н. Н. Мусаков из Ленинграда). В Словаре В. И. Даля *мусак* (как искаженное из *мусат*) означает «сучочка с огнивом, кремнем и трутом» – старинная походная зажигалка. В русском языке не найдено другой основы для рассматриваемой фамилии.

Насонов (Спрашивает С. М. Насонов из Загорска). Происхождение фамилии загадочно, ее основа не найдена. В русских говорах *насон* – «дикий мак», разновидность травы, которой приписывали способность защищать «от сглазу», но связь фамилии со словом в этом значении не доказана. А фамилию послали известные русские ученые.

Наточев, Наточнев (Спрашивает Е. А. Наточеева). Звуковое сходство с глаголом *наточить* подсказывает возможную связь, тем более, что глагол выражал много значений: «заострить», «рассыпать», «налить», «нацедить», «побранить», «паучить», «паткать» и др., от которых вполне возможны были и прозвища. Однако убедительных доказательств пока нет.

Неёлов (Спрашивает М. Неёлова, Ленинград). В старину существовало русское слово *неёла* – «неудача», оно могло стать основой прозвища.

Нездольев (Спрашивает В. Г. Нездольев из Саратова). Основа фамилии – *нездолье* из *доля*, слово *доля* означало «судьба, удача», а *нездолье* – имело противоположное значение, став прозвищем несчастливому, неудачнику.

Нехаев (Спрашивает А. В. Нехаев). Из диалектного *нехай* – «пусть»; употребляющий часто это слово мог получить такое прозвище, которое закрепилось в фамилию. Кроме того, *нехайми* называли в XVII–XVIII веках украинцев.

Никуличев (Спрашивает В. Никуличев из Кзыл-Орды). *Никуличев* – отчество – «сын Никулича», который в свое время был «сыном Никулы» – *Никулин*, а *Никула* – в прошлом повседневная речевая русская форма канонического имени *Николай*.

Никульшин (На вопрос С. И. Никульшина из Куйбышева). Фамилия образована по той же схеме, что и *Никуличев*, с той лишь

разницей, что в первоисточнике употреблена просторечная форма имени *Николай* – *Никульша*.

Носаев (На вопрос читательницы Ичковой, Воронеж). Можно предположить в основе фамилии отчество от прозвища *носай* – имеющий большой нос.

Окладников (Спрашивает Е. В. Окладников из Кемерова). Фамилией стало отчество – «сын окладника». В прошлом слово *окладник* имело значения: получающий постоянную заработную плату, определяющий размеры налога или, наоборот, платящий налог постоянного размера; участник охоты на зверя.

Охохонин (Спрашивает семья Охохониных из Усть-Каменогорска). Фамилией стало отчество от прозвища *Охохоня*; очевидно, далекий предок очень часто бхал, сетуя на трудности и неудачи.

Читатели пишут

Ю. А. Федосюк, автор словаря «Русские фамилии», много лет отдавший изучению этого вопроса, откликаясь на призыв В. А. Никонова, помещенный в № 4 журнала «Русская речь» за 1987 год, предлагает свои соображения в отношении некоторых названных фамилий.

Алипов. В. А. Никонов пишет, будто бы подлинная форма имени Алипий – *Олимпий*. Это ошибка. В святцах находим и Алипия (от греческого «беспечальный»), и Олимпция (от горы Олимп), это разные святые, с различными днями поминовения.

Аушев. Гипотезы несколько натянуты. Конечно же, – от татарского имени *Яуш* с утратой начального йота, сравните пары: *Ярал* – *Арал*, *Яким* – *Аким* и др. Был известный мордовский певец – бас Илларин *Яушев* (1902–1961).

Ашихмин. Фамилия древняя. В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминаются «Ашихмины Депис Ермолаевич с братьями, помещики, 1675 г., Мпенск». Подозреваю, что этимология – тюркская, учитывая фонетику основы. *Шихма* напоминает *Шихмат*, *Шаяхмет* и другие тюркские (из арабского) имена. Начальное *а*, вероятно, протеза, то есть присоединение добавочного звука к началу слова для облегчения произношения, напр. русск. *осьмь* – *восемь*.

Гафин. Бесспорно, от уменьшительной формы *Гафа* (в русском употреблении) татарских имен Гафур, Гафият и т. п.

Забродни. В. И. Даль приводит и такие значения слова *забрда* – «шатуи», «побродяга», «бродяга». Мне этот вариант ответа

представляется наиболее убедительным для основы фамилии. Шатуны — заброды были едва ли не во всякой деревне.

Мамешин. *Мамеша*, скорее всего, уменьшительная форма имени Мамант или Маммий (сравни: Евгеша, Олеша, Гапеша и др.).

Маржеретов. Несомненно, от потомков французских дворян Маржерет, служивших и в России (вспомним у Пушкина в «Борисе Годунове» исторического капитана Маржерета), или от крепостных крестьян, принадлежавших этим Маржеретам.

Муштаков. *Маштак* по Далю — очень низкорослая лошадь, а также приземистый крепыш. В одном из рапших рассказов Л. Толстого читаем: «Белспький маштачок, на котором он ехал, шел, понурая голову». Сноска Л. Толстого: «маштак на кавказском наречии значит небольшая лошадь». Слово явно из группы алтайских языков (М. Фасмер считал, из калмыцкого), где мена у на а и наоборот — явление обычное. Можно полагать, таким образом, что *Муштак* — фонетический вариант слова *маштак*. В словаре Гринченко (украинско-русском) есть сходное слово *муштай* со значением «мохнатая лошадь».

Насонов. *Насон* — просторечный вариант календарного имени *Асон* (*Насон*) с протезой *н*. Имя Насон в старину было не столь редким, отсюда частотность фамилии. В. А. Никонов пишет, что о ней «ничего неизвестно», на самом же деле такое толкование уже имеется в литературе, а Кондратьева в «Метаморфозах собственных имен» пишет: «Иван Грозный назвал Вологду Насоном в память св. Иасона, в просторечии *Насона*». Что касается возможности протезы *н*, то напомним народное *Ниполит* вместо *Ипполит*. Растение насон (дикий мак), наводящий сон, — более редкий источник фамилии.

А. Н. Шустов из Ленинграда предлагает свою версию происхождения фамилии Мурин.

Фамилия *Мурин* представляет собой не производную от какого-либо слова, а сама является таким словом. Дело в том, что в древней Руси и средневековой России было очень широко распространено существительное *мурин* (*мурянин*), означающее черного, темнокожего человека — араба, африканца. Происходило оно от греческого слова, означавшего — «темный» (позже трансформировалось по латинскому образцу *maur* в *мавр*). Очевидно, предки современных Муриных были от природы смуглыми, загорелыми людьми, что и послужило причиной для характерного прозвания их.

Точка в заглавии

Ставится ли точка после заглавия статьи?

Гао Чжунъинь, *КНР, Пекин*

В современной русской печати в конце заголовка употребление точки не принято. Это положение узаконено специальными пособиями и справочниками для корректоров и редакторов; сошлемся хотя бы на последний такой по времени: «Точку в рубрике (заголовке.— *Б. Ш.*), вынесенной в отдельную строку, опускают, за исключением изданий для начинающих читать детей (напр., в букваре), чтобы не мешать закреплению стереотипа, в конце предложения надо ставить точку... Остальные знаки препинания (многоточие, восклицательный, вопросительный знаки) сохраняют» (Справочная книга редактора и корректора. Составление и общая редакция А. Э. Мильчина. Изд. 2-е, М.: Книга, 1985. С. 24). Ср.:

Как был написан «Василий Теркин»

(А. Твардовский)

Что такое рассказ?

(С. Антонов)

Не надо оваций!

(Н. Ильина)

Ты как солнечный свет...

(В. Инбер)

Это правило оформления заголовка (без точки) имеет силу закона для полиграфистов — точно так же, как ранее в русской печати было обязательно ставить точку в конце заголовка, см. в сборнике 1930 г.:

Предисловие.

Орфография, и т. д. (Проект Главнауки о новом правописании).

Переход от старого правила оформления заголовка (...ставится точка) к новому (...не ставится точка), можно предполагать, произошёл примерно на рубеже 1932—1933 гг. Ср. правила в двух близких по времени выхода в свет справочниках: «После заголовка и подзаголовков ставить обязательно точку» (Служивов

Л. И. Справочник корректора. Практическое руководство для корректора, наборщика, редактора и автора. М., 1932. С. 123); «Так как в наших газетах принято давать заголовки без заключительных точек, корректор должен позаботиться о том, чтобы случайно набранные точки были удалены уже в первой корректуре» (Технико-орфографический словарь-справочник. Под ред. Н. Филиппова. Л., 1933. С. 20). В первом справочнике читаем:

Предисловие.

Оглавление.

тогда как во втором соответственно находим:

От редактора

От составителей

и т. д. Но, по-видимому, оформление заголовка без точки — здесь дело еще новое: недаром же во втором справочнике внимание корректора направляется на «удаление» «случайно набранных точек»!

Б. С. Шварцкопф,
кандидат филологических наук

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Уважаемая редакция „Русской речи“! Пожалуйста, помогите мне разобраться в одной каверзе русского языка. Меня заинтересовал глагол *сякнуть*. Словари приводят только одну форму в спряжении — *сякнет*. Так что же, другие разве образовать нельзя, например *сяк, сякла, сякли?*»

В. В. Баруткин, Красноярск

«Грамматический словарь русского языка» А. А. Зализняка (1980) подтверждает возможность образования от глагола *сякнуть* не только формы 3-го лица ед. числа *сякнет*, но также и форм прошедшего времени мужского, женского и среднего рода: *сякнул* и *сяк* (допустимы оба варианта), *сякла, сякло, сякли*.

Необходимо отметить, что глагол *сякнуть* в настоящее время употребляется редко, чаще встречается однокоренной приставочный глагол *иссякнуть*. Этим и объясняется тот факт, что в ряде словарей (в частности, в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова) указанный глагол не упоминается.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
«А. ТВАРДОВСКИЙ.
ВАСИЛИЙ ТЁРКИН»

По горизонтали: 1. Калинин. 3. Парни. 4. Атака. 7. «Переправа». 10. Ухарь. 13. Крест. 15. Вечёрка. 16. «Казбек». 17. Фляжка. 19. Зарница. 20. Ездка.

22. Огнет. 26. Боборыкин. 27. Пожик. 28. Косая. 29. Избушка.
По вертикали: 1. Кисет. 2. Нарва. 3. Порох. 5. Адрес. 6. Вперед. 8. Прибаутка. 9. Присказка. 10. Укрытие. 11. «Генерал». 12. Околица. 14. Танкист. 18. Ангара. 21. Закон. 23. Ельня. 24. Борки. 25. Финка.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. С. ВАЛГИНА, И. Ф. ВОЛКОВ, В. П. ВОМПЕРСКИЙ, А. И. ГОРШКОВ, П. Н. ДЕНИСОВ, И. Г. ДОБРДОМОВ, Л. П. ЖУКОВСКАЯ, В. В. ИВАНОВ (главный редактор), Л. М. ЛЕОНОВ, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора), Н. А. РЕВЕНСКАЯ (ответственный секретарь), Л. И. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

Заведующая редакцией

Т. С. Колмакова

Художественный редактор

Е. Н. Сапожникова

Корректоры

В. В. Беллев, М. Б. Рыбина

Сдано в набор 18.02.88

Подписано к печати 24.03.88

Формат бумаги 84×108/32.

Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4.

Усл. кр.-отт. 425,9 тыс. Уч.-изд. л. 9,9.

Бум. л. 2,5. Тираж 49 500.

Заказ 1300.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука».
Адрес редакции: 121019, Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25
2-я типография изд-ва «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6